




ИТАЛО КАЛЬВИНО
КОСМИКОМИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ



КОСМИКОМИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ,

рассказанные старым Qfwfq,
записанные с его слов

ИТАЛО КАЛЬВИНО

и изданные
в издательстве ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
в городе Москве
в 1968 году

И (Итал)
К 17

Перевод с итальянского.
Предисловие С. ОШЕРОВА

Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Италио Кальвино (род. в 1923 г.) — один из крупнейших и своеобразных прогрессивных писателей современной Италии. Книги его переведены на все европейские языки, хорошо знакомы они и советскому читателю. Кальвино работает в литературе уже двадцать лет: его первая повесть «Тропинка к паучьим гнездам» вышла в 1947 году. Писатель, сам принимавший участие в Сопротивлении, посвятил ее изображению героизма молодых итальянских партизан, боровшихся с гитлеровскими оккупантами и предателями-фашистами. Повесть вызвала сочувственные отклики критики и привлекла к молодому писателю внимание читателей и собратьев по перу. Вышедший два года спустя сборник партизанских рассказов «Последним прилетает ворон» показал, что Кальвино оправдал возлагавшиеся на него надежды.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов Кальвино активно работает как новеллист и становится одним из виднейших мастеров неореалистической прозы. Подавляющее большинство новелл и повестей этого периода издано на русском языке — в сборнике «Кот и полицейский», выпущенном нашим издательством в 1964 году. Однако и реалистические рассказы Кальвино из жизни простых людей Италии и повести, посвященные интеллигенции (вплоть до последней из них — «День счетчика голосов», выпущенной в 1964 году), отличаются не только человечностью, глубоким сочувствием к угнетенным и обездоленным, но и стремлением поставить и решить самые общие, самые важные проблемы, встающие перед мыслящим человеком: проблему отношения к общественной борьбе, проблему личности и общества и т. п. Во многих произведениях Кальвино изображенные в них вполне реалистически события обладают каким-то особым, скрытым за текстом смыслом, а сами эти произведения превращаются как бы в притчи. Для достижения такого эффекта Кальвино широко использует сказочные ситуации, перенесенные в условия реальной жизни. Эту «сказочность» его реалистической прозы неоднократно отмечала и итальянская и советская критика.

С этой своеобразной чертой писательской манеры Кальвино связано второе направление его творчества, которое можно назвать «философско-сказочным». В 1956 году Кальвино выпустил сборник обработанных им итальянских народных сказок, подготовке которого были посвящены два года увлеченного труда.

(На русском языке эти сказки вышли в 1959 году.) Работа над сказками показала писателю, какие неисчерпаемые возможности таит в себе фантазия. Еще раньше он написал сказочную повесть на историческом материале — «Виконт, разорванный пополам» (1952 г.). После завершения работы над сказками Кальвино за несколько месяцев написал еще одно произведение, где сказочный сюжет переплетен с историческими событиями конца XVIII — начала XIX века, — роман «Барон на дереве» (1957 г., на русском языке был выпущен в 1965 г.). В 1959 году вышла еще одна его сказочная повесть — на этот раз из рыцарских времен: «Несуществующий рыцарь». Позже все три произведения были объединены в трилогию «Наши предки». В ней Кальвино ставит и решает все те же интересующие его всю жизнь вопросы: о соотношении доброго и злого начал в человеке, о необходимости служить благу людей и вместе с тем оставаться самим собой, о том, на что должна быть направлена человеческая воля. По существу, Кальвино воскресил жанр философско-фантастической повести, созданный и разработанный в XVIII веке Свифтом, Вольтером, Дидро.

Сказочную линию творчества Кальвино закономерно развивает вышедший в Италии в 1966 году сборник «Космикокомические истории», из которого взяты десять рассказов нашей книги, и его продолжение — сборник «I в нулевой степени» (1967 г.), из которого взят рассказ «Кристаллы». Но на сей раз источником сказочных ситуаций для Кальвино послужили не исторические события последних столетий человеческой истории, а вся история развития вселенной и эволюции жизни на Земле, как их представляет себе современная материалистическая наука. Свидетелем многих перемен в космосе и на Земле является рассказчик книги — QiwIQ, на первый взгляд представляющийся чистой абстракцией, но, как становится ясно по мере чтения, наделенный человеческим восприятием мира, человеческими слабостями, стремлениями, страхами... Неисчерпаемая выдумка писателя использует одну научную «теорию» и «гипотезу» за другой, чтобы поставить своего героя в критические ситуации и заставить его принимать ответственные решения. При всей своей занимательности «Космикокомические истории» Кальвино посвящены одной очень серьезной проблеме: как должен вести себя человек в вечно меняющемся мире. И, решая эту проблему в своих сказочных историях, писатель утверждает те ценности, которые важны и дороги каждому из нас.

ПИСЬМО ГЕРОЯ ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой читатель!

Едва начав эту книгу, вы наверняка удивитесь: «Что за странное имя QiwíQ! Похоже на какую-то формулу!» Прочитав немного дальше, вы, быть может, перестанете удивляться: «А, это научная фантастика! От фантастов всего ожидать можно...» И тут вы допустите прискорбную ошибку.

Да, действительно, в наш век (или в ваш век — я-то могу назвать своим любой из веков мироздания) фантасты ко многому вас приучили. Взять хотя бы небылицы моего друга Йона Тихого! Скажу вам по секрету, что он прямой потомок барона Мюнхгаузена; я же веду свою литературную родословную от других предков (вскоре я их назову), и все эпизоды моей долгой жизни, описанные с моих слов Итало Кальвино, — чистейшая правда.

«Да какая же здесь правда, если все это чистейшая фантастика, да еще построенная на основе разных научных гипотез и теорий! — возразите вы мне. — К тому же ведь и фантастов — самых талантливых из них — тоже интересует правда, правда научного познания, правда будущего развития человечества!» Все верно, но не эта правда важна была моему биографу: в моих рассказах его привлекло то, что может касаться каждого, — правда проблем общечеловеческих.

А эту правду, читатель, вам уже много раз преподносили в самой что ни на есть фантастической форме. Вспомните хотя бы моего досточтимого прадеда Лемюзля Гулливера (вот он и назван): этот замечательный человек побывал и у лилипутов и у великанов, жил среди мудрых лошадей гуингнмов и людей-животных еху, — но кто сказал людям больше правды о них (согласен, горькой правды!), чем Гулливер? Разве не правдивы были такие мои предки, как Кандид, чье жизнеописание создал Вольтер, и магистр Алкофрибас Назье, излекатель квинтэссенции (он же Франсуа Рабле), воевавший и путешествовавший вместе с Гаргантюа и Пантагрюэлем?

Нет ничего удивительного в том, что мой автор, написав историю барона Козимо ди Рондо*, который во имя бескомпромиссной верности взятому на себя обязательству и утверж-

* Его биография под названием «Барон на дереве» вышла и на русском языке.

дения своего «я» провел всю жизнь на деревьях, с радостью взялся за мое жизнеописание. Он давно уже не скрывал своего пристрастия к тому правдивому роду фантастики, о котором я говорил в связи с моей родословной: «Я думаю, что ведущую роль в литературе, исторически осмысляющей действительность и участвующей в общественных битвах, будут играть некоторые гибкие жанры литературы XVIII столетия — эссе, путевые заметки, утопия, философская и сатирическая повесть (разрядка моя. — Q1w1Q.), диалог, нравственные очерки», — писал он. А когда критики нашли даже в его реалистических новеллах «сказочность», он ответил: «Большое достоинство быть сказочным, рассказывая о пролетариате и мелких повседневных событиях». А потом взялся за обработку итальянских народных сказок. Сказка окончательно покорила его: «Из открытой мною волшебной шкатулки вырвалась утраченная логика, управляющая миром сказок, и опять воцарилась на земле». Писатель понял, что возможности сказки еще не исчерпаны.

Однако трудно было бы ему воскресить логику волшебных превращений Золушек и Спящих Красавиц, логику вмешательства в жизнь добрых фей и злых колдунов — и не впасть при этом в стилизацию, в эпигонство... И тут ему на помощь пришел я. История моей жизни подсказала ему, что существует логика иных превращений — логика великих катаклизмов и неуклонных эволюций, открытая современной наукой*, и что законы этой логики могут управлять миром и жизнью не менее причудливо, чем произвол волшебников. События моей жизни убедили его, что история вселенной дает ему достаточно возможностей, чтобы еще раз попытаться решить задачу, стоящую, по его мнению, перед литературой: «Найти правильную связь между сознанием индивида и ходом истории».

Я опять слышу ваше возражение: «Но ведь ту же задачу пытаются решить и историки, и социологи, и философы! При чем же тут литература и тем более сказка?». Да ведь в том-то и дело, что мой биограф стремится сделать это средствами литературы, а точнее — фантазии, сказки; а из этого слияния философской проблематики и фантазии как раз и возникает тот литературный жанр, с которым вам придется иметь дело, — философская сказка.

* Правда, порой мой автор использует вымышленные теории вымышленных ученых.

Что привлекало писателя в моих рассказах? Да то, что и я и остальные, те, кто меня окружал, при всех катаклизмах, происходивших во вселенной, во все геологические эпохи Земли были и оставались людьми. И наша жизнь и наша психология определялись тем, что происходило в мире, как и сейчас; а рождение новых миров, возникновение новых природных явлений, новых видов энергии ставили перед нами не меньше вопросов, чем ставят перед вами войны или социальные движения и перевороты. Пусть мы были лишены облика, который вы могли бы себе наглядно представить, пусть мы носили обобщенные имена-формулы — все равно, повторяю, мы были людьми и решали человеческие проблемы*.

Конечно, мы не всегда оказывались на высоте положения. В моем рассказе о том, как начала отвердевать Земля и впервые зажглось на небе Солнце, писателю показалось забавным именно несоответствие нашей реакции грандиозности событий. Он даже несколько стусил краски, изобразив наше семейство совсем уж мещанским. Но, с другой стороны, нечего греха таить, мы вели себя как настоящие обыватели: ссорились из-за мелочей, блуждали вслепую, судили да рядили, не видя дальше своего носа. И конечно же, взгляд моего автора привлекла извечная черта мещанства: ссылаясь на свой мнимый «жизненный опыт», объявлять любой переворот концом света. Как часто великие сдвиги в человеческом обществе подтверждали потом это наблюдение!

Мои бестолковые родичи, которых разбросало по разным планетам, в сущности, покорились силе обстоятельств. Но ведь на то они и были захолустными жителями, мыслящими готовыми штампами (да и то не попад!) и лишенными всякого кругозора. Мое отношение к миру всегда было иным — более сознательным, более активным.

Я сызмальства был деятельной натурой — об этом свидетельствует хотя бы история моих бесконечных игр с PiwiP. Мы были одни в пространстве, где еще не возникла вселенная, мы были детьми и чувствовали себя абсолютно свободными. Никаких закономерностей в мире еще не было, кроме тех правил игры, которые мы сами придумывали и меняли на ходу. Мы катали атомы по кривизне пространства, мы запускали

* Мне придется здесь говорить об отдельных эпизодах моей жизни не в том биографическом порядке, в каком их прочтете вы, потому что сходные проблемы нам приходилось решать в самые разные эпохи.

в небо галактики, как нынешние ребята запускают змеев... Так началось круговращение вселенной. И тут мы заметили, что мир уже управляется своими собственными законами, а мы должны подчиняться им или, во всяком случае, с ними считаться. Прежняя абсолютная свобода — свобода игры — исчезла, у нас осталась только свобода делать выбор, если мы хотели сохранить хоть каплю собственной активности.

О, поверьте, эта необходимость выбора не раз становилась для меня причиной нелегких душевных конфликтов! Казалось бы, я почти всегда поступал правильно, выбирая новое. Я действительно по натуре новатор и прогрессист. Но это часто приводит к невеселым результатам. Так было, когда на Земле появилась атмосфера и весь бесцветный прежде мир засверкал красками. Увы, его невиданные прежде пестрота и яркость пришлось не по вкусу моей возлюбленной Аиль. Может быть, все дело в том, что в детской душе Аиль еще царил сумрак полуинстинктивных порывов, что ее не озарил яркий свет сознания... Во всяком случае, новый вид мира обратил ее в бегство, заставил укрыться в темных недрах земли. Я пустился за ней туда, я вел ее назад, не имея права оглянуться, — так же много тысячелетий спустя Орфей, повторивший мой подвиг, вел в мир живых свою Эвридику. Но все оказалось напрасно. Непроходимая преграда разделила нас раньше, чем неожиданно вставшая между нами стена базальта.

Еще одна любовная катастрофа постигла меня при переходе к сухопутному образу жизни. Тогда-то мы все были прогрессистами. Новые горизонты, открывшиеся нам при переселении на сушу, делали нас самоуверенными, заставляли слишком оптимистически смотреть вперед и с презрением относиться к старым ценностям, к традиционному укладу, из которого мы вырвались. И дядюшка Нба Нга казался нам ретроградом, твердолобым консерватором, лишенным чувства перспективы. Когда моя невеста LII бросила меня ради него, я мог, конечно, утешаться тем, что женщинам дорога мнимая солидность, что они не способны видеть вещи в развитии. Но потом я обнаружил, что был не прав. LII просто поняла то, чего не могли понять мы: какая цельность природы, убежденность и верность однажды избранным принципам нужны для того, чтобы не поддаваться даже обаянию радужных надежд, круживших голову нам, недавним переселенцам, и противостоять всеобщему поветрию! Понять дядюшку помогло ей то, что для нее сухопутный образ жизни был не модным новшеством, заслоняющим от взгляда

все остальное, а естественным состоянием. А постигнув дядюшкину натуру, она потянулась и к тому естественному, традиционному укладу, который он сохранил. Я же снова остался один...

Впрочем, вскоре — спустя всего несколько миллионов лет — я сам решил вопрос выбора между старым и новым так же, как дядюшка Нба Нга. Это случилось, когда я остался единственным из некогда великого племени Динозавров... Новые жители Земли меня не узнали, не поняли, кто я такой. Мне стоило отречься от своего происхождения, от имени Динозавра, от прошлого — и я получил бы взамен благополучие, спокойствие, любовь. Но назовем вещи своими именами: я должен был бы приспособливаться и предавать самого себя. Мог ли я, герой Итало Кальвино, создавшего образ бескомпромиссного Козимо ди Рондо, пойти на это? Разумеется, нет! Я остался до конца верен себе. Думаю, что это была самая большая победа, одержанная мною за всю жизнь.

И еще раз я остался верен самому себе ценой отказа от любви. Правда, когда я скрепя сердце признался моему биографу в том, что произошло при отдалении Луны, его больше всего позабавила причудливость обстановки. Еще бы! Лестницы-стремянки, приставленные к Луне, добыча лунного молока, полет маленькой XlthlX, вдруг оказавшейся в состоянии невесомости, — как все это необычайно выглядит для вас, людей XX века! Пожалуй, мой автор даже несколько увлекся описанием этих событий и чуть было не создал веселый приключенческий рассказ. И все-таки от него не ускользнуло и то, насколько труден был для меня миг, когда я, слепо подчинившись моему влечению, последовал на Луну за столь же слепо отдавшейся своему влечению синьорой Vhd Vhd, а потом обнаружил, что оказался в тупике. Изменив Земле, я изменил себе, изменил сложному и многообразному содержанию земной жизни; а неразделенная любовь не могла заполнить пустоты, образовавшиеся в моей душе. И если я не хотел превратиться, как моя спутница, в подобие бесплотной тени, мне следовало выбрать Землю. Так я и сделал; и, говоря по совести, здесь, на нашей родной планете, даже тоска по утраченной любви стала для меня неотъемлемой частью моей жизни.

Но что значит быть верным своему «я»? Значит ли это — замкнуться в себе, эгоистически противопоставить себя всему миру? Когда мы говорили на эту тему с моим биографом, я рассказал ему историю, послужившую основой рассказа «Все

в одной точке». Тогда все мы погрязли в наших дрязгах, увязли в трясины мелкого самолюбия и себялюбия. Несимпатичный синьор Pbert Pber^d — вот на кого мы все тогда походили. И лишь одна синьора Ph(i)nk_o была занята не только своей особой. И достаточно ей было подумать о других, сломить ледяную броню эгоизма, как ей удалось — ни мало ни много — положить начало вселенной. Но не только это: ей еще дано было доказать, что лишь «человек для других» может быть творческой личностью, что эгоизм бесплоден, а в основе развития и становления мира и личности лежит любовь — любовь как открытость миру, как готовность жить и творить для людей.

Но жить для других — это не значит жить напоказ. Был у меня в жизни период, когда я больше всего думал о том, какое впечатление производят мои поступки. Мне казалось непоправимой бедой, что обитатели какой-нибудь галактики составят обо мне на основании одного случая нелестное мнение и потом, когда с их галактики уже нельзя будет увидеть наш мир, так при этом мнении и останутся. Суетность настолько овладела мною, что я даже позабыл то, что понял, будучи Динозавром: главное — быть верным своей внутренней правде независимо от того, оценят или не оценят это окружающие, и жить для других, «обида не страшась, не требуя венца», как сказал бы я, перефразируя вашего поэта. Потому что именно бесплодным эгоизмом порождается суетное тщеславие, а от него — один шаг к приспособленчеству: сегодня я думаю, понравится ли зрителям то, что я делаю, а завтра я делаю только то, что им понравится.

Впрочем, не только путь развития личности, но и направление, в котором должен развиваться мир, представлялось нам проблематичным. Когда образовались кристаллы, мне в отличие от моей подруги Вуг казалось, что мир достиг окончательной формы — кристаллической, то есть абсолютно правильной, подчиненной строгой логике математических отношений. Все отклонения, столь милые сердцу Вуг, раздражали меня, как досадные ошибки, я не понимал, что только эти отклонения от стандарта — пусть даже самого совершенного — придают предметам индивидуальный облик. Я не понимал, что если бы на Земле безраздельно воцарилась кристаллическая форма, то невозможно была бы жизнь, которая всегда неповторимо индивидуальна, и она не могла бы развиваться до своего высшего проявления — человеческой личности. Даже время имело бы другой характер: ведь время, в котором существуем мы, живые,

нельзя повернуть вспять, чтобы мы вернулись к первоначальному состоянию; а кристаллы можно, к примеру, растворить в воде, потом выпарить ее, и они восстановятся, по-прежнему правильные и однообразные. К счастью, развитие пошло не по пути, который представлялся мне столь заманчивым, да и до сих пор кажется заманчивым тем, кто хотел бы превратить человеческие личности в атомы правильной сетки мнимых кристаллов — гигантских городов, монополистических предприятий, тоталитарных государств.

Мой биограф, передавая то, что я рассказал ему о кристаллах, изобразил меня, пожалуй, чересчур уж ворчливым и недовольным якобы полным отсутствием закономерностей и порядка в нынешнем мире. И точно так же он, по-моему, неправильно истолковал историю моих пари с деканом (К)УК. Я только хотел сказать ему, что куда легче постигнуть законы, управляющие развитием органической и неорганической природы (тем более что законы эти почти всегда сводимы к математическим выражениям), чем законы, управляющие человеческим обществом и действующие через все случайности. А в его изложении получилось так, что в развитии человечества нет никаких закономерностей, и в этом смысле победа Цезаря над Помпеем так же случайна, как победа рысака-фаворита на парижском ипподроме Лоншан. Право, такой скептицизм не оправдан в наши дни, когда законы развития общества не только признаны познаваемыми, но и познаны, и кроме того, мой автор вступает здесь в противоречие с самим собой: ведь каждый его рассказ говорит о движении мира и человека вперед, а разве может сумма последовательных случайностей дать в результате прогрессивное развитие?

И убедительнее всего мой биограф опроверг собственный пессимизм в последнем из очерков моей жизни. Когда я рассказал ему о том времени, когда я был моллюском и строил раковину, мы вспомнили заключительные строки гётевского «Фауста»:

Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь — в достижение.
Здесь — заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.

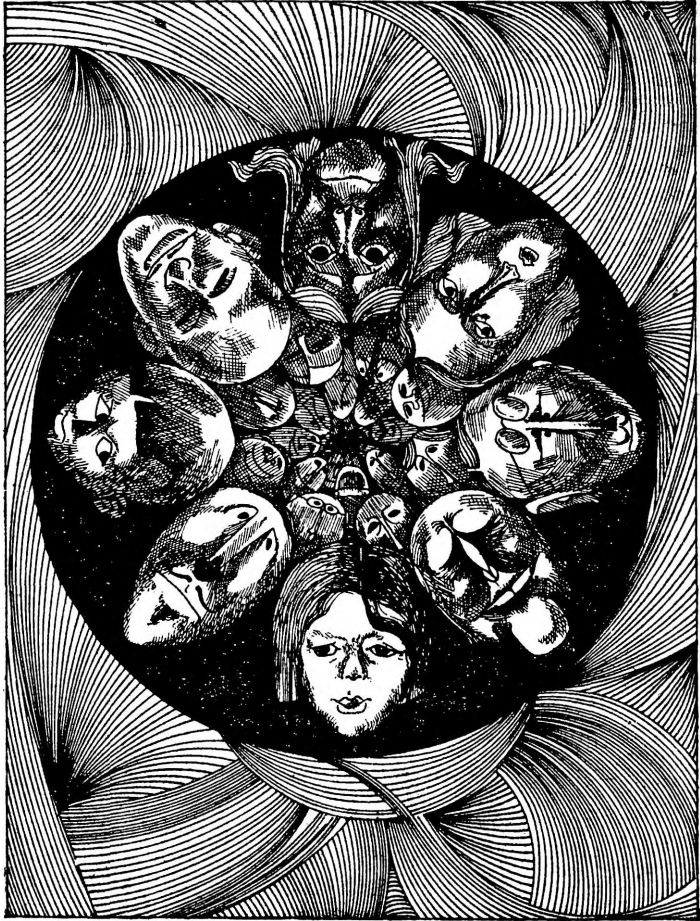
Да, «вечная женственность тянет нас к ней»... Именно ощутив тягу к моллюску другого пола, то есть впервые испытать любовь, почувствовал я, что мне одному должны быть предназначены ответные чувства, а я сам должен выделяться из среды подобных мне; короче говоря, благодаря любви я впервые ощутил себя индивидуальностью. А почувствовав себя индивидуальностью, я стал не только пассивно воспринимать воздействия среды, окружавшей меня, но и активно проявлять и совершенствовать заложенные во мне качества — начал строить свою раковину. Да, тяга к вечно женственному явилась для меня и причиной и, как у Гёте, «символом» становления и развития индивидуальности. Более того: постройка раковины явилась первым в истории живых существ проявлением творческой воли одного из них, а значит, и сама творческая воля появилась в мире благодаря все той же тяге. Недаром посвятил мой биограф «вечной женственности» прекрасное стихотворение в прозе, написанное от моего лица и составившее вторую главу рассказа. (Увы! Сам я не способен был бы создать такое — ведь недаром я стал теперь ученым и мыслителем, а не поэтом.)

Итак, я начал строить раковину и создал одно из прекраснейших и совершенных произведений природы. Казалось бы, в самом деле «цель бесконечная здесь — в достижение». Но все вышло не так, как я рассчитывал: моя возлюбленная не смогла увидеть меня, а я не смог увидеть ее. Прекрасная раковина оказалась тюрьмой, положившей конец моему развитию. А развивались какие-то странные бесформенные существа, кишевшие тогда вокруг меня и презираемые мною. Да, как видно, достижения бесконечной цели быть не может: каждая достигнутая форма, как бы ни была она совершенна, если остановиться на ней, окажется туликом. А неподвижность, остановка — это ведь не что иное, как смерть. Значит, «заповеданность истины всей» — в вечном стремлении вперед, в вечном развитии каждой индивидуальности и (этого не захотел сказать мой биограф!) общества, совершенствуемого развивающимися индивидуальностями и помогающего их совершенствованию.

Кажется, я ответил на все ваши вопросы, читатель, — все, кроме одного, который вы непременно мне зададите: почему я сам не написал своей автобиографии? Однажды я уже вскользь упомянул причину: ведь я ученый, а не поэт, мне не под силу выйти за пределы фактов и теорий. Говорят, что задача художника — заставить людей как бы впервые увидеть то,

что они видели много раз. Перед создателем моего жизнеописания стояла еще более сложная задача: заставить вас, обитателей сегодняшней Земли, воочию увидеть то, что видели мы на протяжении долгих веков — мрак и холод туманности, земной мир без красок и оттенков, пустоту космического пространства; а вот на те вещи, которые вам уже, что называется, примелькались — восход солнца, темное звездное небо, голубой океан, — ему нужно было взглянуть глазами тех, кто действительно увидел все это впервые. Формулируя сжато, я могу сказать, что мой автор должен был придать фантастическому миру, в котором я жил, пластическую наглядность и реальность. И если вы внимательно прочтете прекрасные страницы, посвященные описанию Земли, впервые явившейся нашим взорам в пестром наряде ярких красок, или бездны ночного неба, выглянувшего из-за краешка удалившейся Луны, или мощного скелета Динозавра, — вы убедитесь, что он великолепно выполнил эту свою задачу. Как, по-моему, и другую: убедительно передать чувства и ощущения героев, наделенных человеческим сознанием, но живущих в столь фантастическом мире. Впрочем, судить об этом окончательно будете вы; если я сам, во всем многообразии моих обличей, и синьора Vhd Vhd, и Цветок Папоротника, и Аиль, и синьора Ph(i)nkо — словом, все мы запомнимся вам как настоящие живые герои — значит, наши «Космические истории» достойны занять свое место в многообразной и богатой гуманистической литературе наших дней.

Ваш Q i w f Q



ВСЕ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

Расчеты скорости удаления галактик, предпринятые Эдвином Р. Губблем, позволяют точно установить момент, в который вся материя вселенной была сконцентрирована в одной точке, прежде чем начала рассеиваться в пространстве.

— Конечно, все мы были в этой точке, — подтвердил старый QfwfQ, — что нам еще оставалось? Никто тогда и понятия не имел, что может существовать пространство. И то же самое — со временем: зачем оно нам было нужно, если мы все теснились, как сельди в бочке?

Я говорю «теснились, как сельди в бочке» только ради красоты слога: на самом деле нам и тесниться-то было негде. Каждая точка каждого из нас совпадала с каждой точкой всех прочих, потому что ведь мы все находились в одной-единственной точке. Мы даже не испытывали от этого никаких неудобств — физических, разумеется, а не нравственных, потому что все-таки было досадно, что, например, такой противный тип, как синьор Pbert Pber^d постоянно путается у тебя под ногами.

Сколько нас было? Я никогда не мог даже приблизительно представить себе это. Чтобы нас можно было сосчитать, нам необходимо было бы хоть немного отодвинуться друг от друга, а мы все сгрудились в одной точке. Может показаться, что из-за этого мы делились особенно общительными; но все обстояло как раз наоборот: в иные времена соседи ходят друг к другу с визитами, мы же, именно потому что все были слишком близкими соседями, даже не здоровались.

Круг знакомых у каждого из нас был узок. Я помню прежде всего синьору Ph(i)nk_o и ее друга синьора XueaeuX, затем семейство переселенцев — неких Z'zu и уже упомянутого синьора Pbert Pber^d.

Там была еще уборщица — «Прислуга за все», как ее называли, единственная на весь космос, тогда еще, впрочем, совсем

крохотный. Говоря откровенно, ей целыми днями нечего было делать — даже пыль вытирать не приходилось, потому что в точечное пространство не может проникнуть ни одна пылинка; и уборщица убивала время, сплетничая и жалуясь на жизнь.

Даже тех, кого я назвал вам, было слишком много для такой тесноты; а нужно учесть еще, сколько всякой всячины там было нагромождено: штабелями в разобранном виде у нас лежало все, что потом послужило строительным материалом для вселенной. Мы даже не могли разобраться, что пойдет потом на нужды астрономии (скажем, для туманности Андромеды), что — на нужды географии (например, для Вогез), или химии (для разных изотопов, предположим). А кроме того, мы на каждом шагу натывались на пожитки соседей Z'zu — корзины, раскладушки, матрацы; если бы мы не следили за этими самыми Z'zu, они под тем предлогом, что у них большая семья, вели бы себя и вовсе так, словно, кроме них, нет никого на всем свете: они даже хотели протянуть через всю нашу точку веревки, чтобы сушить белье.

Впрочем, и другие были не во всем правы по отношению к этим Z'zu: взять, например, название «переселенцы», указывавшее на то, что мы все якобы были тут раньше, а они явились позже из другого места. Что это был общий предрассудок, незначен, по-моему, и доказывать: тогда не существовало еще ни «раньше», ни «позже», не имелось и других мест, чтобы из них переселяться; но все равно некоторые утверждали, что слово «переселенцы» нужно понимать в высшем смысле, независимо от пространства и времени.

Скажем прямо, все мы тогда отличались узостью взглядов и мелочностью. Виновата в этом среда, которая нас сформировала. И заметьте, эти недостатки мы сохранили навсегда, они и сейчас дают себя знать, когда мы порой встречаемся друг с другом — на остановке автобуса, или в кино, или на международном симпозиуме зубных врачей — и принимаемся вспоминать прежнее. Мы здороваемся — иногда кто-нибудь первым

узнает меня, иногда я кого-нибудь узнаю — и тут же начинаем расспрашивать об остальных (даже если один из нас помнит не всех, упомянутых другим); и сразу всплывают наружу прежние дразги, обиды, злословие. И так до тех пор, пока мы не вспомним синьору $Ph(i)nk_0$ (а этим неизменно кончаются все разговоры): тогда мелочные счета отбрасываются в сторону, нас словно приподнимает волна счастья и благодарного умиления. Синьора $Ph(i)nk_0$ — единственная, кого все помнят и все оплакивают. Куда она пропала? Я давно уже перестал ее искать; ее грудь, ее бока, ее оранжевый капот — нет, никогда больше мы этого не увидим ни на нашей галактике, ни на остальных.

Мне, по правде сказать, никогда не казалось особенно убедительной теория, будто вселенная, достигнув предела разреженности, снова сконцентрируется и вернется в одну точку, чтобы потом все началось сначала. Однако многие из нас только на это и рассчитывают и строят планы на то время, когда мы снова будем все вместе. В прошлом месяце захожу я в кафе на углу, и кого, по-вашему, я там вижу? Синьора $Pber^t$ $Pber^d$!

— Что поделяете хорошего? Зачем пожаловали в наши края?

Оказывается, он работает в Павии представителем какой-то фирмы пластмасс. Он ничуть не изменился — все тот же золотой зуб и подтяжки в цветочках.

— Когда мы вернемся туда, — сказал он мне на ухо, — нужно будет позаботиться, чтобы кое-кто теперь уже туда не попал... Вы понимаете, эти $Z'zu$...

Я хотел было ответить ему, что уже многие из наших говорили мне то же самое, но только добавляли: «Вы понимаете, этот синьор $Pber^t$ $Pber^d$...»

Чтобы не скатиться по этой наклонной плоскости, я поспешил сказать:

— А синьора $Ph(i)nk_0$? Как по-вашему, мы ее найдем?

— Да... Ее, конечно... — пробормотал он, слегка покраснев. Для нас всех надежда вернуться в одну точку означала преж-

де всего надежду снова оказаться вместе с синьорой Ph(i)nk₀. Это относится и ко мне, хотя я и не верю в возвращение. И тогда в кафе, как это случается всегда, мы начали с умилением вспоминать о ней; перед этими воспоминаниями отступила даже моя неприязнь к синьору Pbert^t Pber^d.

Секрет обаяния синьоры Ph(i)nk₀ заключался в том, что мы не ревновали ее друг к другу. И даже не сплетничали о ней, хотя все знали, что она была, как говорится, «в близких отношениях» с синьором де ХуаеаuX. Но если есть всего одна единственная точка, то ни один из тех, кто в этой точке находится, не может быть ни ближе, ни дальше, и значит, мы все были с ней «в близких отношениях». Если бы дело шло о какой-нибудь другой женщине, то трудно даже представить, что говорили бы у нее за спиной. Уборщица первая готова была пустить любую сплетню, да и остальные подхватили бы ее без промедления. О семействе Z'zu, например, приходилось слышать черт знает что: самая грязная клевета не щадила ни отца, ни мать, ни братьев, ни сестер. А с синьорой Ph(i)nk₀ все было наоборот: я сам был точкой и находился в ней, и она была точкой и находилась во мне, под моей защитой, и от этого я испытывал двойное счастье, и то же испытывали все остальные. Большой близости и большей чистоты (ведь любая точка сама по себе непроницаема!) нельзя было пожелать.

И она сама испытывала то же самое: мы все были в ней, а она была во всех нас, и это доставляло ей двойную радость, и она всех нас одинаково любила.

Нам было так хорошо, что не могло не случиться что-нибудь необычайное. И в один прекрасный миг она сказала:

— Ах, ребятки, будь тут хоть немного попросторнее, с каким удовольствием я сделала бы вам лапшу!

Этих слов было достаточно, чтобы мы подумали о пространстве, в котором двигались бы взад и вперед ее полные руки, раскатывая тесто скалкой, и ее пышная грудь склонялась бы над широкой кухонной доской, и взбивались бы яйца в углуб-

лении посреди высокой горки муки, и ее руки, до локтя белые от муки и блестящие от масла, месили бы и месили тесто, мы подумали о пространстве, которое занимала бы мука, и зерно, из которого смололи бы муку, и поля, на которых вырастало бы зерно, и горы, с которых стекала бы вода, орошая поля, и пастбища, на которых паслись бы телята, чье мясо пошло бы в бульон; о пространстве, в котором могло бы появиться Солнце, чтобы под его лучами созревало зерно; о пространстве, в котором сконденсировались бы облака звездных газов, чтобы из них возникло Солнце и стало греть; о множестве разбегающихся звезд, и галактик, и галактических скоплений, и о том, что все они необходимы, чтобы каждая галактика, каждая туманность, каждое солнце, каждая планета держались на весу в пространстве. И в то время, пока мы о том думали, в то время, когда синьора $Ph(i)nk_0$ произносила: «...лапшу, ах, ребятки...» — точка, в которой все мы находились, начала расширяться и расти, достигая в поперечнике десятков световых лет, и сотен световых веков, и миллиардов световых тысячелетий, и нас раскидало по всем углам вселенной (синьора $Pber^t$ $Pber^d$ забросило даже в Павию), а она сама превратилась в какую-то энергию — свет или тепло, не знаю, — та самая синьора $Ph(i)nk_0$, которая в нашем замкнутом, мелочном мире одна оказалась способной на порыв великодушия («Ах, ребята, какой лапшой я бы вас накормила!»), порыв всеобъемлющей любви, в один миг положивший начало и понятию пространства, и самому пространству, и времени, и всемирному тяготению, и управляемому тяготением миру, где могли появиться миллиарды миллиардов солнц, и планет, и нив, и синьор $Ph(i)nk_0$, разбросанных по всем континентам всех планет и месящих тесто перепачканными мукой и маслом руками, но где навсегда исчезла она сама, оставив нас вечно по ней тосковать.



КОГДА ВПЕРВЫЕ РАССВЕЛО

Дж. Р. Купер доказывает, что планеты солнечной системы начали отвердевать в полной темноте, благодаря конденсации бесформенной газообразной туманности. Стоял холод и мрак. Но затем Солнце стало постепенно уменьшаться, пока не приблизилось, наконец, к своим нынешним размерам, и в результате такого усилия его температура мало-помалу возросла на тысячи градусов, а само оно начало излучать энергию в пространство.

— Да уж, тьма была крошечная, — подтвердил старый Qfwif. — Я был совсем мал и почти ничего не помню. Как всегда, мы находились все вместе — папа с мамой, бабушка Бб-б, какие-то прибывшие к нам погостить родичи, синьор Йгг, который потом стал лошадью, и мы — малыши. По-моему, я уже рассказывал вам раньше, что на туманности можно было — как бы это сказать поточнее? — только лежать, то есть оставаться в горизонтальном положении, не двигаться и вращаться вместе с нею, куда она вращалась. Поймите меня правильно: мы лежали не снаружи, не на поверхности — там было слишком холодно, — а внутри, забившись в гущу газообразной и распыленной материи. Измерять и исчислять время мы не могли: всякий раз, когда мы принимались считать обороты туманности, между нами возникали споры, потому что в темноте у нас не было никаких ориентиров, — и все дело кончалось ссорой. И мы предпочитали, чтобы столетия скользили незаметно, как минута; нам оставалось только ждать, по мере возможности не высовывать носа наружу, подремывать да время от времени перекликаться, чтобы удостовериться, все ли здесь. И конечно же, чесаться, потому что эти взвихренные частицы причиняли при всем при том страшный зуд — ни на что путное они не годились.

Чего мы ждали — никто толком не мог сказать; правда, бабушка Бб-б еще помнила то время, когда однородная материя была равномерно рассеяна в мировом пространстве, помнила свет и тепло; сколько бы ни было преувеличений в рассказах

стариков, но все-таки прежде жилось как-то лучше, чем теперь, или, во всяком случае, иначе; значит, нам надо было только скоротать эту нескончаемую ночь.

Лучше всех чувствовала себя благодаря своему скрытному, замкнутому характеру моя сестрица G'd(w)ⁿ: эта дикарка любила темноту, всегда выбирала место немного в сторонке, на краю туманности, и там подолгу глядела на черное небо, струйками медленно высыпала между ладоней космическую пыль, разговаривала сама с собой, и смеялась (смех ее был похож на струйки космической пыли), и грезила, грезила во сне и наяву. Ее сновидения были не похожи на наши: мы спали в темноте и видели во сне темноту, потому что ничего другого и не представляли себе, а ей снилась, насколько мы могли понять из ее сбивчивых слов, другая темнота, в тысячу раз более плотная, бархатистая и не такая однообразная.

Первым, кто заметил какие-то изменения, был мой отец. Я очнулся от дремоты, разбуженный его криком:

— Послушайте! Тут можно к чему-то прикоснуться!

Материя под нами — мы всегда помнили ее газообразной — начинала твердеть.

Моя мать уже несколько часов ворочалась с боку на бок, повторяя:

— Ох, и не знаю, как улечься!

Как видно, она учуяла, что место, на котором она лежала, изменилось: космическая пыль уже не была, как прежде, такой мягкой, однородной и эластичной, что на ней можно было валяться сколько угодно и не оставить ни малейшего следа. Там, где моя мать наваливалась всей своей тяжестью, стали появляться углубления или впадины, и ей казалось, будто она чувствует под собой какие-то уплотнения или бугорки; впрочем, они находились, быть может, под нею на глубине сотен километров и давили сквозь пласты тончайшей пыли. Но мы обычно не придавали значения всем этим предчувствиям матери, которая была уже не молода и отличалась повышенной чувствительностью,

так что наш тогдашний образ жизни не очень подходил для ее нервной системы.

Потом вдруг я почувствовал, как мой маленький братишка Rwfz стал... как бы это сказать? — возиться, копошиться, одним словом, вести себя беспокойно. Я спросил его:

— Что ты делаешь?

Он ответил:

— Играю.

— Играешь? Чем?

— А чем-то таким...

Вы понимаете? Это случилось впервые. Раньше играть было нечем — не существовало ни единой вещи. Чем мы должны были, по-вашему, играть? Газообразной материей, что ли? Хороша игра, нечего сказать! Она годилась разве что для сестрицы G'd(w)л. Если играть принялся Rwfz, значит он нашел что-то новенькое: потом он даже утверждал, что нашел окатыш, но это одно из его обычных преувеличений. Окатыш не окатыш, но он все же нашел маленькое скопление более твердой или, лучше сказать, менее газообразной материи. Ничего определенного он на этот счет никогда не говорил и даже рассказывал разные небылицы, смотря по тому, что взбрело ему в голову: так, например, когда возник никель и все только о нем и говорили, мой братец заявил: «Ну конечно же, это никель! Я ведь уже играл с никелем», — за что и получил прозвище «Никелированный Rwfz». Его так прозвали вовсе не потому, что он стал потом никелем, оказавшись по своему тупоумию неспособным пойти дальше стадии минерала: все обстоит совсем иначе, я утверждаю это из любви к истине, а вовсе не из-за того, что дело касается моего брата, который и в самом деле всегда отличался некоторой тупостью, но по типу своему подходил не к металлам, а скорее к коллоидам, и, в ранней юности женившись на одной из первых водорослей, ничего уже не желал знать.

Короче говоря, все, как видно, что-то почувствовали, кроме

меня. Я ведь немного рассеян. Я только услышал — не помню, во сне или наяву — восклицание отца: «Тут к чему-то можно прикоснуться!» Тогда это выражение было бессмысленным, поскольку раньше никто ни к чему не мог прикоснуться, это уж наверняка; однако оно приобрело смысл в тот самый миг, когда было произнесено и стало указывать на новое ощущение, впервые испытанное нами и чуть тошнотворное — такое, словно под нами вдруг появилась лужа жидкой грязи.

Я сказал с упреком:

— Ах, бабушка...

С тех пор я много раз спрашивал себя, почему первой моей реакцией было напустить на бабушку. Старая Бб-б со своими допотопными привычками всегда делала что-нибудь невпопад: например, ей по-прежнему казалось, что материя всюду имеет одинаковую плотность и достаточно отшвырнуть от себя нечистоты, чтобы они тотчас же на наших глазах растворились и исчезли. Бабушке никак нельзя было вбить в голову, что повсюду начался процесс уплотнения, а поэтому грязь плотно пристает к любой частице и не так-то легко теперь от нее избавиться. Потому-то я бессознательно приписал новое явление очередному промаху бабушки.

Но она ответила на мое восклицание:

— Что? Ты нашел баранку?

«Баранкой» Бб-б называла низкий полый цилиндр из галактической материи, который она где-то раздобыла во время одного из предыдущих катаклизмов вселенной и с тех пор повсюду таскала с собой, чтобы сидеть на нем. Но однажды он затерялся в темноте, и бабушка обвинила меня в том, что я его спрятал. Честно говоря, я эту «баранку» всегда терпеть не мог — такой нелепой и неуместной она казалась на нашей туманности, — однако обвинить меня можно было только в том, что я ее не стерег все время, как хотелось бабушке.

Даже отец, всегда обращавшийся к бабушке весьма почтительно, не удержался от замечания:

— Да что вы, мама, тут невесть что творится, а вы со своей «баранкой».

— Я ведь вам говорила, что никак не могу уснуть, — отозвалась моя мать, тоже немного невпопад.

В этот миг послышалось громкое «Ап-чхи! Уаф-ф-ф! Кхр-р-р»; мы поняли, что с синьором Йгг что-то случилось, раз он изо всех сил сморкается и отплевывается.

— Синьор Йгг! Синьор Йгг! Вылезайте наверх! Куда это вы там запропастились? — окликнул его отец.

В кромешной, все еще непроглядной тьме нам удалось на ощупь отыскать его, схватить за гриву, вытащить на поверхность туманности, чтобы он отдышался, и расплатать его по наружному слою, который как раз в то время, застывая, становился студенистым и скользким.

— Уа-ф-ф-ф! Эта штука обволакивает со всех сторон, — пытался объяснить синьор Йгг, который, впрочем, никогда не отличался особым красноречием. — Погружаешься в нее, погружаешься, а она заглатывает! Кхр-р-р-ах!

Вот это новость! Оказывается, теперь нужно быть начеку, иначе в нашей туманности можно потонуть. Моя мать первая поняла это — ей помог материнский инстинкт. Она закричала:

— Дети, вы все здесь? Где вы?

Мы действительно стали немного рассеянны; раньше, когда всё столетиями оставалось на своих местах, мы тем не менее старались не отдаляться друг от друга, а сейчас забыли и думать об этом.

— Спокойно, спокойно! Пусть никто не отходит в сторону! — скомандовал отец. — C'd(w)ⁿ, где ты? И где близнецы? Кто видел близнецов?

Никто не ответил.

— Ах, опять они потерялись! — воскликнула мать.

Мои братья были еще совсем маленькими и не могли дать о себе знать; поэтому они ежеминутно терялись, и их не оставляли без присмотра.

— Я иду искать их! — заявил я.

— Молодец, QfwiQ, ступай! — сказали папа с мамой, но тут же раскаялись. — Только не отходи далеко, а то ты тоже потеряешься! Оставайся здесь! Или ладно, иди, только подавай знаки. Свисти!

Я зашагал через темноту по трясине сгущавшейся туманности, время от времени громко свистя. Я говорю «шагать»: этот способ передвижения по поверхности еще несколько минут назад был немислим, да и теперь существовал разве что в намек — такое малое сопротивление оказывала материя на поверхности; приходилось все время быть начеку, чтобы вместо передвижения вперед не нырнуть внутрь туманности по кривой или отвесно и не быть похороненным в ее недрах. Впрочем, куда бы я ни направился — вперед или вглубь, — вероятность найти близнецов была одинакова: кто его знает, куда задевалась эта пара.

Вдруг я перекувырнулся, как будто кто-то — сказали бы теперь — подставил мне ножку. Я упал впервые в жизни, до этого я даже не знал, что такое «упасть», однако подо мной все еще было мягко и я не ушибся. Вдруг послышался голос:

— Не топчись здесь, я не хочу.

Это была моя сестрица.

— Почему? Что тут такое?

— Я тут что-то из чего-то сделала...

Лишь спустя некоторое время я ощупью разобрался, в чем дело: копаясь в этой грязи, она соорудила маленький горный хребет с зубцами и остроконечными вершинами.

— Что ты тут творишь?

Q'd(w)ⁿ отвечала, как всегда, без всякого смысла:

— Вот это снаружи, а в середине у него есть внутрь... Ц-ц-ц...

Я пошел дальше, то и дело спотыкаясь и падая. Один раз я наткнулся все на того же синьора Йгг, который в конце концов снова провалился вниз головой в сгущающуюся материю.

— Поднимайтесь, синьор Йгг! Неужели вы не можете стоять

прямо? — Мне снова пришлось помогать ему выбираться наружу, на этот раз сильно наподдав ему снизу, потому что я тоже увяз с головой.

Синьор Йгг, отдуваясь, чихая и кашляя (стоял невиданный мороз), вынырнул на поверхность в том самом месте, где сидела бабушка Бб-б. Бабушка взлетела в воздух и тут же умилилась:

— Внучки! Внучки мои воротились!

— Да нет же, мама, вы видите, это синьор Йгг.

Понять уже ничего нельзя было.

— А внучки?

— Они здесь! — закричал я. — И «баранка» тоже здесь!

Близнецы, должно быть, давно уже устроили себе укромное убежище в самом плотном месте туманности; туда они и утащили «баранку», чтобы играть ею. Прежде, когда материя была газообразной, они могли рыбкой проскакивать наружу через отверстие «баранки», а теперь ее закупорило студенистой массой, и они оказались в плену.

— Взбирайтесь наверх, — втолковывал я им, — взбирайтесь, чтобы я мог вас вытащить, дурачки!

Я стал тащить их, и, прежде чем они сами это заметили, оба вылетели вверх тормашками на поверхность, уже покрытую тонкой пленкой — как белок яйца. А «баранка», едва я вытащил ее, растворилась в пространстве. Пойди пойми, что в те дни происходило, и пойди объясни все эти явления бабушке Бб-б.

И как раз в эту минуту, словно они не могли выбрать более подходящего времени, мои дяди с теткой медленно поднялись с места, заявив:

— Уже поздно, мы тревожимся, что там делают наши малыши. Рады были повидать вас, а сейчас нам лучше всего тронуться в путь.

Нельзя сказать, чтобы они были не правы: уже давно имелись все основания встревожиться и побежать домой; но и дяди и тетка — может быть, из-за того, что жили они в глуши — всегда

были немножко рохлями. Видно, они давно уже сидели как на иголках, только не осмеливались сказать об этом.

Отец ответил благоразумно:

— Если хотите идти, я вас не задерживаю; только подумайте, не лучше ли вам подождать, пока положение немного прояснится, а то сейчас ни за что нельзя понять, откуда грозит опасность.

— Нет, нет, спасибо, мы так славно поболтали, но пора и честь знать, надо дать покой хозяевам... — Они понесли обычные глупости. Словом, если мы мало что понимали в происходящем, то они и вовсе ничего не уразумели.

Их было трое — двое дядей и тетка, все, как один, длинные и ничем друг от друга не отличавшиеся; они и сами никак не могли разобраться, кто чей муж, кто чей брат и тем более в каком родстве они состоят с нами. Впрочем, в то время еще многое оставалось неясным.

Родичи уходили по одному, каждый в свою сторону, направляясь к черному небу, а чтобы не потерять друг друга, они время от времени перекликались. Они всё делали так, без всякого толка и смысла!

Едва они скрылись, как их «Ау! Ау!» стали доноситься совсем издалека, хотя вряд ли они могли отойти больше чем на несколько шагов. И еще мы услышали восклицания, смысл которых оставался загадочным:

— Здесь пустота!

— А тут нельзя пройти!

— Почему ты не подойдешь?

— Где ты?

— А ты перепрыгни!

— Через что перепрыгнуть, дурья башка?

— По-моему, я вернулся обратно!

Короче, и тут ничего нельзя было понять, кроме одного расстояния между родичами и нами все время увеличивалось с невероятной быстротой.

Тетка, ушедшая последней, первая произнесла осмысленные слова:

— А я теперь осталась одна на каком-то куске этой штуки, который оторвался...

Но оба дядюшки только повторяли:

— Вот дура... Вот дура...

Голоса их из-за огромного расстояния доносились приглушенно.

Мы всматривались в прорезаемую криками темноту, когда вдруг произошло изменение — единственное настоящее изменение, при котором я присутствовал за мою жизнь и по сравнению с которым все прочие и в счет не идут. На горизонте что-то заколебалось, это было не похоже ни на то, что мы тогда называли звуками, ни на то, что мы совсем недавно определили словом «прикосновение»; это было ни на что не похоже. Вдали что-то кипело, и от этого все, что было рядом, еще больше приближалось к нам. Темнота вдруг стала темной не сама по себе, а по контрасту с тем, что не было темнотой, — со светом. Когда нам удавалось присмотреться повнимательней и разобраться в обстановке, выяснилось, что вокруг находятся: во-первых, небо, темное, как всегда, но понемногу становившееся не таким, как прежде; во-вторых, поверхность, на которой мы стояли, — бугристая, покрытая коркой льда, грязного до омерзения и быстро таявшего (температура поднималась полным ходом); в-третьих, то, что мы потом назвали источником света, — постепенно накалявшаяся масса, отделенная от нас огромным пустым пространством и словно примерявшая один цвет за другим — так быстро она менялась. И еще посредине неба, между нами и накаляющейся массой, вертелось несколько тускло сияющих островков, а на них — мои родственники, и еще всякая публика; их голоса доносились, как слабый писк.

Самое главное произошло: сердцевина туманности, резко сжавшись, обрела свет и тепло, и возникло Солнце. Все прочее вращалось вокруг, разорвавшись и сгущаясь кусками разной ве-

личины: Меркурий, Венера, Земля и более далекие тела. И кто где очутился, тот там и остался. Жара стояла такая, что можно было сдохнуть.

Мы стояли, разинув рот и задрвав головы, — все, кроме синьора Йгг, который ради предосторожности остался на четвереньках. И вдруг бабушка расхохоталась. Я уже сказал, что она выросла в эпоху рассеянного свечения и все время, пока было темно, разговаривала так, словно прежнее должно вернуться с минуты на минуту. И сейчас ей показалось, что ее час настал: сперва она хотела прикинуться равнодушной, словно все происходящее кажется ей совершенно естественным, а потом, заметив, что на нее никто не обращает внимания, стала хохотать и твердить:

— Вот невежды! Право, какие невежды...

Однако говорила она не вполне искренно, тем более что память уже изменяла ей. Мой отец, как ни мало он понимал, все же осторожно возразил ей:

— Мама, я знаю, что вы имеете в виду, но это, по-моему, совсем другое... — И воскликнул, указывая на почву: — Поглядите вниз!

Мы опустили глаза. Земля, которая держала нас, все еще представляла собой прозрачный студень, который, однако, становился все более твердым и плотным, начиная с центра Земли, где образовалось нечто вроде желтка. Правда, пока еще мы видели насквозь весь земной шар, пронизанный первыми лучами Солнца. И внутри этого прозрачного шара двигалась какая-то тень, не то плывущая, не то летящая. Мать сказала:

— Это моя дочь!

И мы все узнали $G'd(w)^n$; наверное, ее испугало полыхание Солнца, и она, повинувшись порыву своей нелюдимой души, нырнула в глубь уплотняющейся земной материи, а теперь искала выхода из недр планеты. Когда сестра пересекала еще прозрачные, освещенные участки, она казалась нам золотой и се-

ребриной бабочкой; но все чаще ее поглощала разрастающаяся тень.

— $G'd(w)^n!$ $G'd(w)^n!$ — кричали мы и бросались наземь, стараясь пробить проход, чтобы добраться до нее.

Но земная поверхность покрывалась твердеющей пористой скорлупой, и мой брат $Rwzfs$ чуть не лишился жизни, когда засунул голову в какую-то расщелину. Вскоре сестра исчезла из виду: все, что прилегало к центру планеты, окончательно отвердело. $G'd(w)^n$ осталась в недрах, и мы больше ничего о ней не знали — то ли она была погребена в глубинах Земли, то ли спаслась, выбравшись с другой стороны. Только много лет спустя, в 1912 году, я встретил ее в Канберре: она была замужем за неким Сюзливленом, вышедшим на пенсию железнодорожником, и так изменилась, что я с трудом ее узнал.

Мы встали. Синьор Йгг и бабушка стояли друг против друга и плакали, охваченные золотым и синим пламенем.

— $Rwzfs!$ Как ты смел поджечь бабушку? — начал было кричать отец, но, обернувшись, тотчас же умолк, увидев, что брат тоже охвачен пламенем. Отец, мать, я сам — все мы горели в огне. Вернее, мы не горели, мы были плотно окружены огненным лесом, языки пламени поднимались по всей поверхности планеты, в этом пламенеющем воздухе мы могли бегать, летать и парить. Неведомое прежде веселье охватило нас. Солнечное излучение сжигало оболочку планет, состоявшую из водорода и гелия, в небе, там, где были наши родичи, вращались охваченные пламенем шары, за ними развевались длинные сине-золотые хвосты, делавшие их похожими на кометы.

Вернулась тьма. Мы думали, что случилось уже все, что могло случиться.

— Теперь конец, — сказала бабушка, — поверьте старикам!

А на самом деле Земля просто повернулась вокруг своей оси. Наступила ночь. Это было только начало.



ИГРЫ БЕЗ КОНЦА

При взаимоотдалении галактик разреженность мирового пространства компенсируется образованием новых галактик, за счет материи, возникающей ex-novo*. Для поддержания средней устойчивой плотности мирового пространства необходимо и достаточно, чтобы в 40 нубических сантиметрах пространства — при условии его непрерывного расширения — появлялось каждые 250 миллионов лет по одному атому водорода. (Эта теория, получившая название «теории неизменности состояния», родилась в противовес гипотезе, согласно которой вселенная возникла мгновенно, явившись результатом некоего гигантского взрыва.)

— Это я понял еще ребенком, — рассказывал старый Qfwfq. — Атомы водорода я знал все наперечет, и стоило, бывало, появиться новому, как мне это тут же становилось известно. Еще бы: в пору моего детства по всей вселенной не во что было поиграть, кроме атомов водорода. А мы только тем и занимались, что играли в них, — я да еще один мой сверстник, по имени PfwfP.

Как мы играли? А очень просто. Пространство криволинейно. По его кривизне мы и пускали свои атомы, как бильярдные шары, и кто посылал своего дальше, тот и выходил победителем.

Однако прежде чем ударить по атому, необходимо было учесть все последствия, проделать расчет траекторий, умело использовать влияние магнитных полей и полей гравитации. А стоило все это упустить из виду — как пущенный шарик тут же сходил с дорожки и в счет не шел.

Правила были обычные: каждому разрешалось попадать атомом в своего и посылать его дальше или же ударять им в атом противника, чтобы убрать его с пути. Бить слишком сильно, разумеется, опасались: от резкого столкновения двух ато-

* Заново, на пустом месте (латин.).

мов водорода легко мог образоваться атом дейтерия, а то и просто атом гелия, и для игры новые атомы уже не годились. И больше того: когда один из таких резко столкнувшихся атомов оказывался атомом противника, виновный обязан былеще и возместить ущерб.

О том, что такое кривизна пространства, говорить не приходится. Бывало, все идет как по маслу, крутится себе шарик, крутится и вдруг фюйт — только его и видели: ушел по касательной!

Вот почему, пока шла игра, число атомов все уменьшалось и уменьшалось, и поэтому кто первый оставался ни с чем, тот и проигрывал.

И вот, едва наступал критический момент, как откуда ни возьмись появлялись вдруг новые атомы. А разница между атомом новым и атомом, побывавшим в употреблении, сами понимаете, огромная! Новые сверкали, горели и светились таким влажным блеском, словно были покрыты росой. Мы ввели дополнительные правила, решив, что каждый новый атом будет равняться трем старым и что как только появляются новые, мы их тут же делим между собой поровну.

Так что игре нашей не было конца, но скучней она от этого не становилась. Напротив: всякий раз, как заводились у нас новые атомы, нам казалось, будто и сама игра новая, и мы начинаем первую партию.

Но с течением времени игра стала терять свою увлекательность. Новых атомов больше не появлялось, нечем стало заменять старые, и мы из боязни упустить в голый, пустынный космос то немногое, что у нас еще оставалось, били все слабее и неувереннее.

PfwfP словно подменили: он ходил рассеянный, то и дело пропадал куда-то. Приходит его очередь бить — его нет, кричу — не отзывается, является через полчаса.

— Где ты там? Тебе ведь бить! А не хочешь больше играть — так и скажи!

— Да играю я, не приставай, сейчас ударю.

— И чего зря шляться! Если у тебя другие дела, отложим партию!

— Проигрываешь — вот и злишься.

И действительно: у меня не оставалось ни атома, а у этого PíwíP неизвестно каким образом, но всегда хоть один да имелся в запасе. Я же, чтобы поправить свои дела, мог рассчитывать только на появление новых атомов водорода и на справедливый дележ.

И вот, как только PíwíP в очередной раз исчез, я тут же крадучись последовал за ним. Пока мы бывали вместе, он с самым беспечным видом слонялся из угла в угол, насвистывая. А теперь стоило ему освободиться из-под моей опеки, как он тут же начал бешено носиться по космосу с таким деловым видом, что всякому ясно было: у него есть вполне определенный план действий. В чем состоял его план — а попросту говоря, его мошенничество, как вы увидите, — мне и удалось вскоре раскрыть.

PíwíP известны были решительно все места, где возникали новые атомы, и, время от времени наведываясь туда, он собирал их, что называется, с пылу с жару, а потом припрятывал.

Так вот почему у него никогда не переводились атомы для игры!

Однако прежде чем пустить их в игру, этот закоренелый мошенник принимался гримировать их, подделывать под старые, царапая оболочку электронов, пока она не становилась тусклой и непрозрачной, чтобы я думал, будто это какой-нибудь старый отыгранный атом, случайно завалившийся у него в кармане.

Но и это еще полбеды: наскоро подсчитав все находившиеся в игре атомы, я обнаружил, что это была лишь ничтожная доля того, что он воровал и припрятывал. Неужели он где-то откладывал водород? Но зачем? Что он задумал? А что, если,

мелькнуло у меня подозрение, этот чертов PfwfP собрался построить для себя одну собственную новехонькую вселенную?

С той минуты я лишился покоя: нужно отплатить ему той же монетой, решил я. Можно, конечно, последовать его примеру: теперь, когда я знаю места, я могу являться туда раньше его и захватывать себе эти едва появившиеся на свет атомы, прежде чем он успеет прибрать их к рукам, — и дело с концом! Но нет, думал я, это будет слишком просто! Мне хотелось, чтобы он сам попался в ловушку, достойную его коварства. И я принялся за изготовление фальшивых атомов: пока PfwfP занимался своими грабительскими набегами, я, надежно укрывшись, тер, месил, отвешивал, пытаюсь слепить воедино имевшееся в моем распоряжении сырье. Правда, ассортимент и количество его были ничтожны: кучка отработанных фотонов, опилки с магнитных полей и два-три заблудившихся на лету нейтрино — вот и все, чем я располагал. Я скатывал из этих ошметков шарики, обильно смачивая их слюной, и только таким путем мне удавалось соединять все это добро в одно целое. В конце концов мне удалось получить несколько корпускул. Лишь внимательно приглядевшись к ним, можно было заметить, что это не только не водород, но и вообще ни один из известных элементов.

Однако для такого типа, как этот PfwfP, который носился как угорелый, хватал атомы не глядя и воровским жестом совал себе в карман, они вполне могли сойти за натуральный новенький водород.

И вот, пока он ничего еще не подозревал, я стал ходить на добычу раньше его. Каждое место я помнил так, что мог отыскать атом с закрытыми глазами.

Мировое пространство изогнуто повсюду. Однако встречаются места, где его кривизна намного превышает обычную, образуя своего рода углубления, впадины, лунки. Пространство здесь как бы особенно круто загибается, пытаюсь свернуться в труб-

ку. И не где-нибудь, а именно здесь, в этих самых углублениях, подобно жемчужине в створках раковины, каждые двести пятьдесят миллионов лет с нежным позваниванием рождается сверкающий атом водорода. Обходя эти места, я забирал себе в карман новорожденные атомы и клал на их место поддельные.

Таким образом пока жадный, ненасытный грабитель, не замечая подвоха, набивал себе карманы отбросами, я накапливал несметные сокровища, которые вселенная тихо и незаметно вынашивала для меня в своем лоне.

В игре мы поменялись ролями: у меня теперь всегда бывали новые атомы для бросания, а те, что пускал Píwfp, то и дело давали осечку. Три раза делал он бросок, и все три раза атом его, вылетая в космос, крошился там, точно раздавленный. Теперь Píwfp старался под любым предлогом — во что бы то ни стало — сорвать партию.

— Давай, давай! — нажимал я на него. — Если ты опять не запустишь — победа будет за мной.

— Черта с два! Когда атом выходит из строя, партия не считается, нужно начинать сначала.

Такого правила не было, он его сам выдумал на ходу. Я не отставал: я прыгал вокруг него, приплясывал, садился ему верхом на плечи и орал над самым его ухом тут же сочиненную песенку:

Ход пропустишь —
Все упустишь,
Не сыграешь —
Проиграешь!
Доиграй-ка до конца,
Лампа-дрица-аца-ца!

— Да перестань ты наконец! — взмолился Píwfp. — Давай лучше сыграем во что-нибудь другое.

— Можно! — согласился я. — Слушай! А что, если нам галактики запустать?

— Целые галактики, говоришь? — PfwfP явно оживился. — Я-то готов! Да вот как ты — у тебя ведь ни одной галактики нет!

— Нет, есть!

— Так у меня и подавно!

— Тогда давай!

— Посмотрим, чья полетит выше!

И я с силой выбросил в небо весь свой тайный запас новых атомов.

Сначала они как будто рассеялись. Но вскоре, собравшись вместе, сгустились в небольшое легкое облако; облако это стремительно разрасталось, а внутри его, в самой середине, возникла область раскаленных добела сгущений. Они бешено вращались и вдруг — не успел я даже опомниться — превратились в спираль, состоявшую сплошь из созвездий, огромных, невиданных доселе созвездий! Спираль свободно парила в пространстве, быстро развертываясь в ленту, и мчалась, мчалась вперед, а я держал ее за хвост и несся вслед за ней. Теперь уже не я запускал галактику, сама галактика увлекала меня, повисшего на ее хвосте. И не повисшего, нет! Потому что не было больше ни «верха», ни «низа», а было только пространство, которое непрерывно ширилось, моя галактика, которая также все расширялась, и я, подвешенный в ней и строивший оттуда рожи одураченному PfwfP, оставшемуся где-то далеко-далеко позади, на расстоянии многих тысяч световых лет.

PfwfP, едва я только поднял руку, тоже извлек все свое богатство и швырнул его вверх таким широким, размашистым жестом, будто заранее был уверен, что над ним развернется спираль новой огромной галактики. Не тут-то было! Последовал треск разрядов, сумбурные, беспорядочные вспышки, и тут же все стихло!

— Что, не вышло? — крикнул я Píwfp, осыпавшему меня снизу бранью.

Он был зелен от ярости.

— Сейчас я тебе покажу, проклятый QfwfQ!

А мы с галактикой тем временем летели уже среди тысяч и тысяч других галактик, но моя была самой молодой на всем этом огромном небосводе, и он завидовал ей: она вся искрилась молодым водородом, новорожденным бериллием и младенцем углеродом. Старые, пожилые галактики бежали от нас, раздвигшись от зависти: неуклюжие, старомодные, они нам были не пара, и мы с гиканьем и свистом уносились от них, оставляя их далеко позади.

Так, стремительно убегая друг от друга, мы пролетали сквозь все более пустынные и разреженные пространства, пока, наконец, я снова не увидел там и сям расплывчатые блики света. Это оказались целые скопища новых галактик, образовавшихся из только что возникшей материи, галактик, теперь уже более молодых, чем моя.

Через некоторое время пространство вокруг нас вновь напоминало осенний, густо увешанный спелыми гроздьями виноградник. И все это летело, мчалось, разбегаясь в разные стороны, моя галактика убегала и от старых, и от более молодых галактик, а те, в свою очередь, мчались прочь от нас. Избавившись от них, мы вырвались, наконец, в свободные, никем еще не занятые небеса, но и те, в свою очередь, поторопились заселиться, и так было без конца.

— Это тебе все за предательство, QfwfQ! — услышал я вдруг в момент одного из таких новых заселений и, обернувшись, увидел несущуюся по нашему следу совсем юную галактику; на самом конце ее спирали — чтобы удобнее было выкрикивать угрозы и оскорбления по моему адресу — восседал мой неизменный товарищ по играм Píwfp.

Началась погоня. В местах, где пространство шло в гору, молодая подвижная галактика Píwfp всякий раз выигрывала

в дистанции, зато на спусках моя — более тяжелая — вновь уходила вперед.

Секрет гонок известный: все дело в том, кто как берет виражи. Галактика PfwfP имела явную склонность преодолевать их круто, моя же, напротив, постоянно стремилась брать их как можно шире. Не один раз после таких расширений меня выкидывало вон из пространства, а следом летел и PfwfP. И мы продолжали гонку, пользуясь обычной в таких случаях системой: создавали перед собой пространства по мере того, как продвигались вперед.

Иметь перед собой «ничто», позади — перекошенную злобой физиономию ни на шаг не отстававшего PfwfP было в одинаковой степени неприятно. И все же я предпочитал смотреть вперед. Смотрел, смотрел — и вдруг что я вижу? PfwfP, на которого я только что смотрел, оглядываясь назад, несется на своей галактике прямо передо мной!

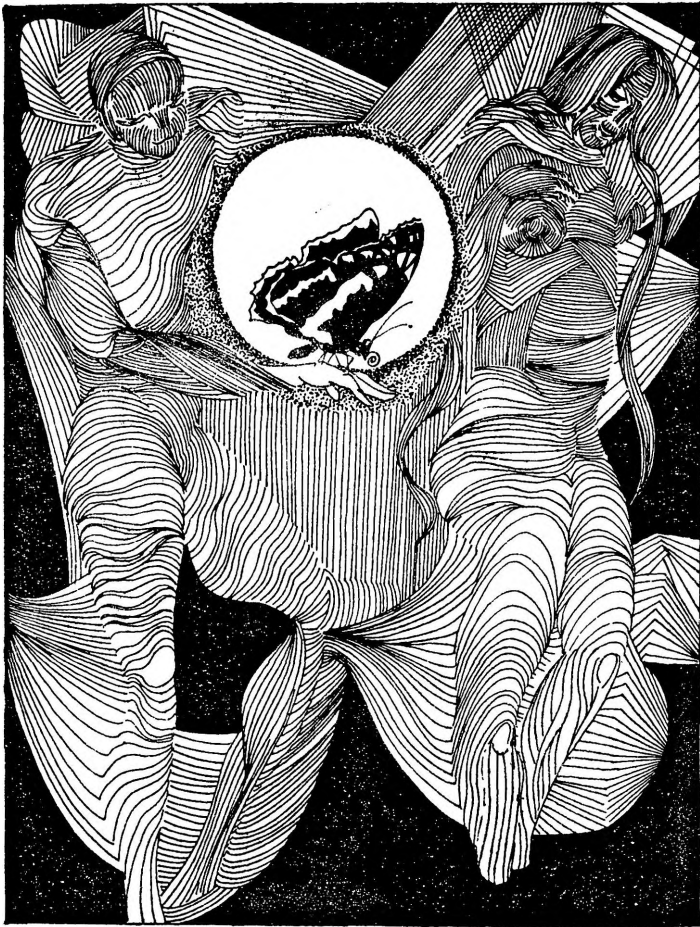
— Ага! — воскликнул я. — Теперь моя очередь гнаться за тобой!

— Каким это образом? — услышал я голос PfwfP, не совсем понимая, откуда: не то позади себя, не то впереди. — Это я за тобой гоняюсь!

Я обернулся: PfwfP по-прежнему летел следом. Я снова посмотрел вперед: что за черт! Все тот же PfwfP удирал — только пятки сверкали. Однако, приглядевшись, я увидел, что впереди его галактики, той, что шла передо мной, летела другая, и этой другой была моя собственная! Это так же верно, как и то, что на ней восседал не кто иной как я — собственной персоной! Да, да! Меня нельзя было не узнать, хотя я и видел себя со спины. Я повернулся к тому PfwfP, что преследовал меня, и, взглядевшись пристальней, увидел, что следом за его галактикой гонится еще одна галактика — тоже моя, и на ней тоже сижу я и оглядываюсь назад.

Так и получалось: за каждым QfwfQ следовал свой PfwfP, а за каждым PfwfP — свой QfwfQ, и каждый PfwfP гнался за

QiwfQ, а тот гнался за ним, и наоборот. И пусть расстояние между нами то ненамного сокращалось, то увеличивалось, но теперь нам уже было ясно, что ни одному из нас никогда и ни за что не суждено догнать другого: ни ему — меня, не мне — его. И хотя эта игра в догонялки давно потеряла для нас всякий интерес и мы были уже не дети, но изменить что-либо уже нельзя было...



БЕСЦВЕТНЫЙ МИР

Прежде чем возникли океаны и атмосфера, Земля, вероятно, имела вид серого вращающегося в пространстве шара — такого же, как сейчас Луна. В тех местах, куда ультрафиолетовые лучи проникают совершенно беспрепятственно, все краски исчезают. Поэтому скалы на лунной поверхности в отличие от Земли, где они бывают самых разных цветов, все одного, мертвенно-серого тона. И если лик Земли сейчас столь многоцветен, то это лишь благодаря атмосфере, которая поглощает губительные ультрафиолетовые лучи.

— Да, серый цвет немного монотонен, — подтвердил старый QfwifQ. — Но зато глаз отдыхает. Я пробежал милю за милей с такой скоростью, которая возможна только в безвоздушной среде, и всюду видел только серое на сером. Никаких четких контрастов; по-настоящему белой была лишь центральная часть Солнца, но на нее невозможно было даже взглянуть, а по-настоящему черной не была даже ночная тьма, так как на небосводе всегда сверкало великое множество звезд. Перед взором простирались бесконечные горизонты, еще не прорезанные горными хребтами, которые тогда только начинали формироваться, и эти хребты тоже были уныло-серыми на фоне серых равнин. Можно было пересечь континент за континентом и так и не выйти на берег, потому что океан, реки и озера еще находились где-то глубоко под землей.

Встречаться с кем-нибудь в те времена случалось крайне редко: ведь нас было так мало. Под ультрафиолетовыми лучами могли выжить только самые непритязательные. Вообще отсутствие атмосферы давало себя знать во многом: например, метеориты сыпались на Землю сплошным дождем, потому что тогда не было стратосферы, о которую теперь, как капли о навес, эти самые метеориты разбиваются. Затем — безмолвие. Можно было кричать сколько угодно — все равно без воздуха звуковых колебаний быть не могло, и мы все оставались глухи и немые. И еще — перепады температуры: вокруг не было

ничего, что сохранило бы солнечное тепло, поэтому ночью все коченело от холода. Счастье еще, что земная кора согревалась изнутри благодаря расплавленным минералам, которые, постепенно сгущаясь, накапливались в недрах планеты. Ночи были короче, как, впрочем, и дни, потому что Земля вращалась тогда вокруг своей оси много быстрее. Я спал, прижавшись всем телом к теплой скале, и царивший вокруг сухой мороз был мне приятен. Словом, что касается климата, то, откровенно говоря, я в нем чувствовал себя совсем неплохо.

Нам недоставало множества крайне необходимых вещей, и, как вы сами понимаете, отсутствие красок волновало нас меньше всего. Единственное неудобство заключалось в том, что, когда нужно было отыскать кого-нибудь или что-нибудь, приходилось напрягать зрение — все было одинаково бесцветным, так что стоило большого труда различить очертания предметов на сплошном сером фоне.

Нам едва-едва удавалось различить лишь движущиеся предметы: катящийся обломок метеорита, внезапно разверзающуюся от землетрясения пропасть, брызги лавы.

В тот день я мчался по необъятному амфитеатру пористых, как губка, скал, смыкавшихся арками, за которыми открывались все новые арки. Местность была сильно пересеченной, и однотонность цвета слегка нарушалась неожиданными переливами теней во впадинах. И вот среди опор этих бесцветных арок я внезапно увидел, как быстро-быстро промелькнуло что-то бесцветное, исчезло, снова появилось немного дальше. Два огонька то вдруг загорались, то мгновенно угасали. Еще не поняв толком, в чем тут дело, я бросился вдогонку за Аиль, влюбившись в ее глаза.

Я углубился в песчаную пустыню, я бежал между дюнами, всегда чем-то различавшимися между собой, но, в сущности, почти одинаковыми. Если вы глядели на них с определенной точки, гребни дюн напоминали очертаниями распростертые тела. Вон там виделась рука, прижатая к нежной груди, причем

ладонь подпирала щеку; чуть поодаль казалось, будто девушка выставила босую ногу с изящным большим пальцем. Остановившись, я старался найти новые очертания тела и не сразу понял, что передо мной не песчаный холм, а сама беглянка, за которой я гнался. Совершенно бесцветная, она лежала на бесцветном песке, погруженная в сон. Я присел рядышком. То было время (теперь я это знаю точно), когда на нашей планете эра ультрафиолетовых лучей приближалась к концу, и та жизнь, которой суждено было исчезнуть навсегда, приобретала особенно прекрасные формы. Земля не знала ничего прекраснее, чем существо, лежавшее рядом со мной.

Аиль открыла глаза и увидела меня. Вначале она, по-моему, не смогла различить меня на фоне окружающего песка, как это прежде случилось и со мной, но потом она узнала во мне таинственное существо, которое преследовало ее, и сильно испугалась. В конце концов она, очевидно, все-таки поняла, что природа у нас обоих общая, и в ее глазах мелькнул проблеск робкого веселья; от счастья я издал безмолвный крик.

Потом попробовал жестами объяснить с ней.

— Песок. Не песок, — сказал я, указав сначала на окружающее пространство, а затем на нас двоих. Аиль утвердительно кивнула головой: она меня поняла.

— Скала. Не скала, — продолжал я, чтобы поддержать разговор. Но объяснить, к примеру, кто такие мы с Аиль, в чем наше различие и сходство, было делом нелегким.

— Я. Ты не я, — жестами объяснял я. Но ей это не понравилось. — Да. Ты как я, но не совсем, — поправился я.

Она успокоилась, но смотрела на меня недоверчиво.

— Я, ты, вместе, бегать, бегать, — осмелев, сказал я.

Она засмеялась и бросилась наутек. Мы бежали по гребням вулканов. В серой полуденной мгле разметавшиеся волосы Аиль и языки пламени, вырывавшиеся из кратера, точно сливались в едином взмахе одинаково бледных крыльев.

— Огонь. Волосы, — сказал я. — Огонь как волосы.

Казалось, мои слова убедили Аиль.

— Правда, очень красиво? — спросил я.

— Красиво, — ответила она.

Белесое солнце уже клонилось к закату. Его лучи, падая сбоку на отвесный обрыв из темных камней, придавали некоторым из них серебристый оттенок.

— Там камни неодинаковые... Правда, красиво? — сказал я.

— Нет, — ответила Аиль и отвернулась.

— Там камни очень красивые, — настаивал я, показывая на их сероватый блеск.

— Нет, — она даже не пожелала взглянуть на них.

— Я тебе те камни! — предложил я.

— Нет, эти! — ответила Аиль и схватила горсть темных камешков. Но я уже помчался к обрыву.

Когда я вернулся с блестящими в полутьме камешками, мне долго пришлось уговаривать Аиль, чтобы она приняла подарок.

— Красивые! — пытался я ее убедить.

— Нет! — возражала она, но потом все же посмотрела на них. Теперь, когда на них больше не падали солнечные лучи, эти камни тоже стали тусклыми. Лишь тогда Аиль сказала: — Красивые!

Спустилась ночь, и я впервые провел ее, прижимаясь не к теплой скале. Если свет скрывал от меня Аиль и даже заставлял сомневаться в ее существовании, то тьма придавала мне уверенность, что она здесь, возле меня.

Наступило утро и вновь окрасило Землю в серый цвет; я огляделся вокруг и не увидел Аиль. Тогда я беззвучно закричал:

— Аиль! Почему ты убежала?

Но она была рядом и тоже искала меня, и не видела, и беззвучно звала:

— QiwfQ, где ты?

Наконец глаза наши привыкли к туманному полусвету, и мы смогли различить очертания бровей, локтя, бедра.

Я мечтал засыпать Аиль подарками, но все они казались мне недостойными ее красоты. Я искал все, что хоть чем-нибудь отличалось от однообразной земной поверхности, ну, хоть бы трещинкой или пятном. Но очень скоро мне пришлось убедиться, что у нас с Аиль разные, вернее, даже диаметрально противоположные вкусы. Мне хотелось найти что-нибудь, не подернутое однотонным серым налетом, покрывавшим все и вся, и я жадно ловил малейшее изменение, каждый знак необычайного, нового (а надо сказать, что к этому времени в мире что-то начало меняться: кое-где на сплошь бесцветном фоне показались то более яркие, то более тусклые переливы). Между тем Аиль оставалась счастливой обительницей безмолвного мира, где не было места никаким переходам цветов, для нее все, что грозило разрушить безликую однотонность, представлялось грубым диссонансом, а красота начиналась там, где серый цвет, подавив все другие оттенки, царил безраздельно и полновластно.

Как мы могли понять друг друга? Ничто вокруг — такое, каким оно являлось нашим взорам, — не могло помочь нам выразить то, что мы чувствовали друг к другу; но я упрямо стремился извлечь из окружающих предметов какие-то новые оттенки свойств, в то время как Аиль хотела, чтобы все свелось к лишенной качеств, бесцветной сущности предметов.

В небе по траектории, пересекавшей Солнце, пронесся метеорит, и его зыбкая огненная оболочка на миг стала как бы фильтром для солнечных лучей. Внезапно мир окрасился в невиданные прежде цвета: у подножия оранжевых скал разверзлись багровые пропасти, я протянул фиолетовые руки к сверкающему зеленому метеориту и, мучительно пытаясь выразить мысль, для которой еще не существовало слов, крикнул: — Это тебе! Тебе от меня! Да, да, это красота!

Я стремительно обернулся, горя желанием взглянуть, как по-новому сверкает красота Аиль в этом преображенном мире, но Аиль исчезла, словно в тот самый миг, когда серая пелена,

окутавшая Землю, разорвалась на тысячи кусков, и она сумела юркнуть в щель и спрятаться где-то.

— Аиль! Не пугай меня, Аиль! Вылезай, посмотри вокруг!

Тем временем метеорит уже миновал Солнце, и Земля снова стала тусклой, однообразной и серой, а для моих ослепленных глаз еще более серой, чем прежде; Аиль нигде не было.

Она и в самом деле исчезла. Я искал ее долго, в беспрестанной смене ночей и дней. То было время, когда мир словно примерял те формы, которые принял впоследствии. При этом он испытывал то один, то другой из имевшихся под рукой материалов, далеко не всегда наиболее пригодных для данной формы; но ведь было совершенно ясно, что это еще не окончательная модель. Деревья из лавы дымчатого цвета простирали искривленные ветви, с которых свисали тоненькие сланцевые листики. Пепельные бабочки порхали над глиняными лугами и вдруг неподвижно замирали маргаритками из кристаллов опала. Может быть, та бесцветная тень, которая легко покачивалась на ветке дерева в бесцветном лесу, и была Аиль; или, может быть, та, что наклонялась, отыскивая в сером кустарнике серый гриб. Сотни раз мне мерещилось, что я ее нашел, и сотни раз я снова ее терял. Через безлюдные равнины я добрался, наконец, до первых поселений. В ту пору, в преддверии грядущих перемен, безвестные строители создавали прообразы форм далекого еще мира будущего. Я прошел через скопление нурагов * с их башнями-глыбами, пересек гору, в которой повсюду были выдолблены подземные ходы и пещеры, напоминавшие убежища отшельников, попал в порт, раскинувшийся у грязевого моря, пересек сад, где на песочных клумбах вздымались к небу высокие менгиры **.

* Нураги — доисторические каменные постройки в Сардинии.

** Менгиры — вертикально стоящие каменные глыбы, воздвигнутые доисторическими обитателями Нормандии.

По серым камням менгиров змеились чуть заметные серые прожилки. Я остановился. Аиль была здесь. Она играла со своими подругами. Они кидали высоко-высоко кварцевый шар и ловили его на лету.

Одна из них слишком сильно бросила шар, и я перехватил его. Подруги Аиль бросились искать пропавший шар. Аиль осталась одна. Я высоко подбросил этот кварцевый мяч и снова поймал его. Аиль бросилась за ним. А я, прячась от нее, беспрестанно подбрасывал шар, увлекая ее все дальше и дальше. Наконец я вышел на открытое место, и Аиль увидела меня; она что-то сердито крикнула, потом улыбнулась. Так, перебрасывая друг другу мяч, мы гуляли по незнакомым местам.

В ту эпоху на нашей планете пласты геологических пород с трудом искали устойчивого положения, и от этого землетрясения случались каждый час. То и дело новый подземный толчок сотрясал земную кору, и между мной и Аиль мгновенно разверзались гигантские пропасти, через которые мы на бегу перебрасывали наш кварцевый мяч. Сквозь эти трещины сжаты в недрах Земли вещества пробивали себе путь на волю, и на поверхность то и дело вылетали камни, кипящие струи лавы, дымящиеся облачка.

Не прерывая игры, я заметил, что на поверхности постепенно оседает слой газа, похожий на туман. Вначале странный туман стелился над самой Землей, но постепенно стал подыматься все выше, окутав сначала наши лодыжки, затем колена и, наконец, бедра... В глазах Аиль промелькнула тень беспокойства и даже страха; мне же не хотелось пугать ее, и я как ни в чем не бывало продолжал нашу игру, хотя и сам испытывал некоторое волнение.

Ничего подобного мне до сих пор не приходилось наблюдать — над Землей, обволакивая ее, рос и все больше раздувался гигантский пузырь газа. Еще немного, и газ затопит нас с головой, и кто знает, что тогда произойдет.

Я бросил Аиль кварцевый мяч через большую трещину,

но по непонятным причинам он пошел к земле гораздо ближе, чем я рассчитывал, и угодил прямо в расщелину. Видно, кварцевый шар вдруг стал невероятно тяжелым, или нет — это трещина превратилась в огромный провал, и Аиль оказалась далеко-далеко от меня, за потоком какой-то жидкости, бурлившей между нами и пенившейся у подножия скал; я бежал по берегу, простирая вдаль руки, и кричал: «Аиль! Аиль!».

Мой голос, вернее — звук моего голоса, разносился вокруг с неведомой доселе силой, но рев волн заглушал мои крики. Словом, уже ничего нельзя было понять.

Совершенно оглушенный, я заткнул уши и в тот же миг почувствовал, что надо зажать рот и нос, чтобы не задохнуться от дурманящей смеси кислорода с азотом, которая разлилась вокруг. Но самым сильным моим побуждением было крепко зажмурить глаза, чтобы не ослепнуть.

Жидкая масса, колыхавшаяся у моих ног, внезапно изменила цвет, ослепив меня, из горла моего вырвались бессвязные хриплые звуки, которым лишь позже суждено было обрести точный смысл: «Аиль! Море голубое!»

Долгожданная метаморфоза, наконец, свершилась. Отныне на Земле возникли вода и воздух. А над этим новорожденным морем клонилось к закату Солнце, окрашенное сейчас в совершенно необычные, куда более яркие цвета. И меня не оставляло желание почти бессмысленно кричать:

— Аиль, смотри, какое оно красное, это Солнце! Аиль, оно красное!

Наступила ночь. Но и тьма теперь была совсем иной. Я бежал по равнине, ища Аиль, и при виде все новых чудес бессвязно кричал:

— Аиль, звезды желтые! Аиль, Аиль!

Я не нашел ее ни в ту ночь, ни в последующие дни и ночи. Вокруг мир щедро рождал все новые краски, розовые облака собирались в фиолетовые гучи, и из них выпрыгивали золотистые молнии, после гроз широко раскинувшиеся радуги

являли нам невиданные цвета и оттенки в самых причудливых сочетаниях. В это же самое время начал свое победное шествие по Земле и хлорофилл; мох и папоротники зазеленели в долинах, изборожденных бурными потоками. Наконец-то земной пейзаж стал достойным фоном для красоты Аиль, но самой Аиль нигде не было! А без нее все это великолепие красок казалось мне бесполезным, лишенным смысла..

Я ходил по Земле, не узнавая некогда серых, бесцветных предметов, каждый раз поражаясь, что, оказывается, огонь — красный, лед — белый, небо — лазурное, почва — бурая, что рубины — рубинового цвета, бирюза — бирюзового, а изумруды — изумрудного. Ну, а Аиль? Как я ни напрягал воображение, я все же не мог представить себе, какой она предстанет перед моими глазами.

Я снова очутился в саду, среди менгиров, но теперь в нем зеленели деревья и травы; в струящихся фонтанах плавали красные, золотистые, иссиня-стальные рыбки. Подружки Аиль по-прежнему бегали на лужайке, перекидывая друг другу разноцветный шар. Но как они изменились! Одна из них стала белокожей блондинкой, другая — смуглолицей брюнеткой, третья — шатенкой с розовой кожей, а четвертая — рыжей, с лицом, усыпанным очаровательными веснушками.

— Где Аиль? — крикнул я им. — Где она? Что с ней! Почему она не с вами?

Губы подружек были красными, зубы — белыми, а язык и десны — розовыми. Розоватыми были и соски груди. А глаза у одних были зеленые, как аквамарин, у других — черные, как вишни, или карие.

— Ах... Аиль, — ответили они. — Она куда-то исчезла... А куда — не знаем, — и они снова принялись за игру.

Я пытался вообразить себе цвет волос и кожи Аиль, но мне это никак не удавалось; так в поисках возлюбленной я обыскал всю поверхность Земли.

«Раз ее нет наверху, то, может быть, она прячется в нед-

рах?» — подумал я и, как только поблизости произошло землетрясение, спустился в пропасть и постепенно добрался до самого чрева Земли.

— Айль! Айль! — звал я во мраке. — Айль! Выйди и посмотри, какая наверху красота!

Охрипнув от крика, я умолк. И в ту же секунду до меня донесся тихий, спокойный голос Айль:

— Тсс... Я здесь. Зачем ты так кричишь? Что тебе нужно? Я ровным счетом ничего не видел.

— Айль! Идем со мной! Ты знаешь, наверху такая...

— Мне не нравится наверху.

— Но прежде ты сама...

— То было прежде. А теперь все по-другому. Началась эта неразбериха красок...

— Нет, это было лишь на миг, просто освещение изменилось. Помнишь, как тогда с метеоритом, — солгал я. — А теперь все уже прошло и стало, как прежде. Идем же, не бойся.

«Когда она поднимется, — думал я, — то после секундного замешательства привыкнет к обилию цветов и красок; ей самой понравится, и она поймет, что я лгал ради ее же блага».

— Ты говоришь правду?

— Зачем мне врать? Идем, я отведу тебя.

— Нет. Ты иди вперед, а я пойду следом.

— Но ведь мне не терпится снова тебя увидеть.

— Ты увидишь меня, только если я сама захочу. Ступай вперед и не оборачивайся.

Подземные толчки прокладывали нам путь. Каменные пласты раздвигались перед нами, как пластинки веера, мы пробирались вперед через расщелины. Я слышал за собой легкую поступь Айль. Еще один толчок — и мы вышли к самой поверхности. Я бежал по базальтовым и гранитным ступеням, и они мелькали, словно страницы книги, которые вы быстро перелистываете. Уже показался пролом, который должен был вывести нас наружу, уже видна была освещенная Солнцем зеленая по-

верхность Земли, уже пробивались нам навстречу лучи света. Сейчас, сейчас я увижу, как заиграют краски на лице Аиль...

Я обернулся. Я услышал ее крик, она отпрянула назад, во мрак; мои ослепленные светом глаза ничего не увидели. Потом раздался грохот обвала, заглушив все остальные звуки, и в тот же миг между мною и Аиль опустилась вертикальная каменная стена, разделившая нас.

— Аиль! Где ты? Скорей пробирайся сюда, пока скала еще не осела до конца!

Я бежал вдоль стены, ища хоть какое-нибудь отверстие, но серая гладкая поверхность тянулась без единой трещины. В этом месте после землетрясения образовалась огромная горная цепь. Я очутился у самого выхода на поверхность, Аиль же осталась за каменной стеной, пленницей земных недр.

— Аиль, где ты? Аиль! Почему ты не по эту сторону?

Мой взгляд бродил по расстилавшемуся у моих ног ландшафту. И вдруг все эти светло-зеленые луга с только что распутившимися алыми маками, эти желтые поля, полосками тянувшиеся по бурым склонам холмов, сбегавших к морю, искрившемуся голубыми бликами, — все это показалось мне банальной, фальшивой и аляповатой декорацией, которая до того не подходила ко всему облику Аиль, не отвечала ее представлению о мире, о красоте, что я понял: ей никогда не будет и не может быть места «по эту сторону». Но в то же время я с болью и ужасом понял и другое: я-то сам остался «по эту сторону» и уже никогда не сумею обойтись без серебряных и золотистых бликов, без этих перистых облаков, что из голубых становятся розовыми, без этих зеленых листиков, желтеющих каждую осень. И тогда мне стало ясно, что мир, столь совершенный для Аиль, навсегда погиб и я даже не смогу теперь вообразить его себе — ведь не осталось ничего, что хоть отдаленно напоминало бы мне о нем, ничего, кроме этой холодной стены из серого камня.



КРИСТАЛЛЫ

Если бы раскаленные вещества, из которых некогда состоял земной шар, имели бы в своем распоряжении достаточно времени, чтобы остынуть постепенно, и могли двигаться достаточно свободно, то каждое из них отделилось бы от всех прочих и образовало один огромный кристалл.

— Да, все могло бы выйти иначе, я знаю, — сказал старый QíwíQ, — уж мне-то незачем об этом напоминать: я свято верил в этот кристаллический мир, который должен был возникнуть, и никак не мог примириться с тем, что придется жить в нынешнем мире, аморфном, измельченном, вязком. Конечно, я тоже каждое утро бегу, как все, сажусь в поезд (мой дом находится в Нью-Джерси), чтобы потом оказаться среди этого скопления остроконечных призм, которые поднимаются за Гудзоном; я провожу в них целые дни, двигаюсь туда и сюда по горизонтальным и вертикальным осям, прорезающим эти твердые тела, или же бреду единственно возможным путем между их гранями и ребрами. Но обмануть меня нельзя: я знаю, что меня заставляют двигаться среди гладких прозрачных стен и симметричных углов только для того, чтобы я, наконец, поверил, будто нахожусь внутри кристалла, и признал, будто правильная форма, ось вращения, постоянные плоскости действительно существуют там, где всего этого нет и в помине. Существует только нечто противоположное — например, стекло; эти твердые тела, которые стоят вдоль улиц, все они из стекла и не имеют ничего общего с кристаллами. Мешанина молекул затопила мир, застыла, одев его твердой корой, и кора эта приняла формы, навязанные ей извне, а внутри она так и осталась самой обыкновенной магмой, такой же, как во времена раскаленной Земли.

О тех временах я, конечно, не жалею: а если вы, слыша, как я брюзжу по поводу нынешнего положения вещей, решите,

будто я с тоской вспоминаю о прошлом, то вы, без сомнения, ошибетесь. Земля без коры была ужасна: вечно раскаленный ад, болото расплавленных минералов, черные воронки железа и никеля, стекающих через любую трещину к центру Земли, гейзеры, взметающие высокие струи ртути. Мы с Вуг прокладывали себе путь через кипящую мглу и нигде не могли найти твердой опоры. Гряда жидких скал вставала перед нами — и тут же улетучивалась, испаряясь едким облаком, мы кидались сквозь это облако — и чувствовали, как оно сгущается и обрушивается нам на голову ливень металлических капель, от которого вздуваются густые волны алюминиевого океана. Вещества вокруг нас поминутно меняли свое состояние, разбросанные в беспорядке атомы перестраивались по-новому, но столь же беспорядочно, потом опять по-новому, а в сущности, все оставалось неизменным. Изменить что-либо по-настоящему могло бы только одно: если бы атомы сложились в каком-нибудь порядке; этого мы с Вуг и искали, пробираясь через мешанину элементов, без малейших ориентиров в пространстве и во времени.

Я согласен, теперь все обстоит иначе: у меня на руках часы, я сравниваю угол между их стрелками с углом на всех других часах, которые я вижу вокруг; у меня есть календарь, в который я записываю текущие дела, и приходо-расходная книга, в которой я складываю и вычитаю цифры. На Пен-стейшн я схожу с трамвая, спускаюсь в подземку, стою в вагоне, одной рукой держусь за перекладину, а другой подношу к глазам согнутый газетный лист и пробегаю столбцы биржевых курсов. Короче говоря, я не порчу общей игры и, как все, делаю вид, будто в столбе пыли есть порядок, есть правильная система или по крайней мере взаимодействие различных систем, пусть не согласованных, но хотя бы соизмеримых между собой настолько, чтобы придать любому комочку материи правильную огранку, что не мешает ему, однако, вскоре рассыпаться в прах.

Конечно, раньше было хуже. Мир был просто сплавом ве-

ществ, все в нем растворяло все и все было растворено во всем. Вуг и я без конца теряли друг друга, — мы, которые и так с самого начала были затеряны в этом мире и не имели понятия о том, что можно (или можно было бы) найти в нем, чтобы больше не теряться.

И вдруг мы заметили нечто. Вуг сказала:

— Вот.

Она указывала туда, где среди потока лавы что-то приобрело форму. Это было твердое тело с правильными гладкими гранями и острыми ребрами; оно медленно росло, как бы вбирая в себя рассеянную вокруг материю, и его форма тоже менялась, все время сохраняя, однако, пропорции и симметрию... Этот предмет отличался от всего окружающего не только формой, но и тем, как входили в него лучи света, пронизывая его и преломляясь в нем. Вуг сказала:

— Блестят! Много!

Действительно, их было много. На раскаленной поверхности, где прежде лишь на мгновение появлялись пузырьки газа, изрыгаемого чревом Земли, теперь возникали кубы, октаэдры, призмы, прозрачные, на первый взгляд как бы воздушные и пустые изнутри, однако на самом деле обладавшие, как мы вскоре убедились, невероятной плотностью и твердостью. Сверкание этой ребристой поросли заливало Землю, и Вуг сказала:

— Весна!

Я поцеловал ее.

Теперь вы поняли: если я люблю порядок, то это вовсе не значит, что я, как другие, по своему характеру склонен подчиняться внутренней дисциплине, подавляющей инстинкты. Для меня представление об абсолютно правильном, скрупулезно симметричном мире связано с этим первым взлетом ликующей природы, с любовным напряжением, с тем, что вы называете эросом, в то время как ваши обычные сравнения, в которых страсть ассоциируется с беспорядком, а любовь — с необуз-

данным изливанием — поток, огонь, водоворот, вулкан, — напоминают мне лишь о пустоте, об отсутствии стремлений и скуке.

Мне не так трудно было понять, что я заблуждался. Вот чего я достиг в конечном счете: Вуг исчезла, от алмазного зроста осталась лишь пыль; мнимый кристалл, в котором я теперь заключен, — это никчемное стекло. Я еду вдоль линий, прочерченных по асфальту, подстраиваюсь к веренице машин перед светофором (сегодня я приехал в Нью-Йорк на машине...), трогаюсь с места, когда зажигается зеленый свет (...как всегда, по четвергам, когда я провожаю...), включаю первую скорость (...дороги к ее психоаналитику), стараюсь двигаться на постоянной скорости, чтобы не попадать больше на красный свет до самой Второй авеню. Но то, что вы называете порядком, — это только изношенная заплатка, прикрывающая полный разброд. Я нашел место на стоянке, но через два часа мне придется спуститься и снова опустить монету в счетчик, а если я забуду это сделать, машину перенесут прочь, подняв ее краном.

В те времена я мечтал о кристаллическом мире, и даже не мечтал, а видел его воочию, видел нерушимую ледяную кварцевую весну. Передо мной вырастали прозрачные многогранники, высокие, как горы, сквозь всю их толщину видна была тень той, что стояла позади.

— Вуг, это ты! — Чтобы догнать ее, я взбирался на зеркально-гладкие стены и соскальзывал назад, я хватался за острые ребра и ранил себе руки, я обегал вокруг обманчивые грани, и за каждым поворотом гора светилась изнутри по-иному: она то сверкала, то матово сияла, то неожиданно темнела.

— Где ты?

— В лесу!

Кристаллы серебра походили на нитевидные деревья с ветвями, расходящимися под прямым углом. Похожие на скелеты кусты из олова и свинца превращали в густую чащу этот геометрический лес. Вуг бежала через него.

— QiwfQi Здесь совсем не так! — кричала она. — Золотое, зеленое, синее!

Перед нашими глазами внезапно открылась долина бериллов, окруженная стеной с зубцами всех цветов — от аквамаринового до изумрудного. Я мчался следом за Вуг, и в душе у меня боролись счастье и страх: я был счастлив видеть, как каждое из веществ, составлявших мир, приобретало свою окончательную и прочную форму, и меня мучил смутный страх, что победа этого столь многообразного порядка может стать — на более высокой ступени — копией того беспорядка, который остался у нас позади. Я мечтал о всеобъемлющем кристалле, о мире-топазе, вне которого уже не оставалось бы ничего; я не мог дожидаться, когда Земля сбросит оболочку из газа и пыли, в которой вращались все небесные тела, и первой прекратит разбазаривание скопища атомов, именуемого вселенной.

Конечно, при желании кто-нибудь может вбить себе в голову, будто видит некий порядок в расположении звезд и галактик или освещенных окон пустого небоскреба, где от девяти до двенадцати ночи уборщицы наводят чистоту и полотеры натирают паркет в конторах. Найти оправдание, во что бы то ни стало найти оправдание, если вы не хотите, чтобы все рассыпалось! Сегодня вечером мы ужинаем в городе, в ресторане на террасе двадцать третьего этажа. Это деловой ужин; нас шестеро, с нами Дороти и жена Дика Бемберга. Я ем устриц, гляжу на звезду, которая называется, если я не ошибаюсь, Бетельгейзе. Мы разговариваем: мужчины о производстве, дамы о потреблении. Впрочем, увидеть небесный свод трудно: огни Манхэттена сливаются в сплошное сияние, которое невозможно отделить от сияющего неба.

Чудо кристалла — это сетка атомов, которая постоянно повторяется. Этого-то Вуг не хотела понять. Я скоро увидел, что ей нравилось как раз совсем другое: открывать в кристаллах самые ничтожные различия, неправильности, изъяны.

— Неужели, по-твоему, так уж важно, если тут один атом

не на месте или одна грань искривилась? — говорил я. — Ведь этому телу суждено расти бесконечно по строгой схеме. Мир стремится стать единым кристаллом, кристаллом-гигантом...

— А мне нравится, когда есть много маленьких, — отвечала она, разумеется, из чувства противоречия.

Но все же в ее словах была правда. Кристаллы появлялись ежеминутно тысячами, они проникали друг в друга: два кристалла, соприкоснувшись, переставали расти в месте соприкосновения и не могли избавиться от следов той расплавленной скалы, от которой они заимствовали свою форму. Мир вовсе не стремился становиться единой, все более простой геометрической фигурой. Он застывал в виде призм, кубов и октаэдров из стекловидной массы, и все они, казалось, борются друг с другом, чтобы избавиться от соперников и захватить для себя всю материю...

Из внезапно остывшего кратера посыпался ливень алмазов.

— Погляди! Какие большие! — воскликнула Вуг.

Со всех сторон извергались вулканы. Алмазный материк, преломляя солнечные лучи, играл мозаикой радужных граней.

— Но разве ты не говорила, что маленькие нравятся тебе больше? — напомнил я.

— Нет! Эти! Огромные! Хочу! — И она бросилась вперед.

— Но вот там они гораздо больше, — сказал я, указывая наверх.

Блеск ослеплял нас, но я уже видел перед глазами алмазную гору, граненый переливчатый хребет, самоцвет-небоскреж, Эверест-Кохинор*.

— А зачем они мне? Мне нравятся те, которые я могу взять, я хочу иметь их. — В сердце Вуг уже разгорелась жажда стяжания.

— Это он будет иметь нас: он сильнее, и мы будем у него в плену, — ответил я.

Кажется, я ошибся. Алмазы имеют другие, а не мы. Когда

* Кохинор — один из самых крупных алмазов в мире.

я прохожу мимо магазина Тиффани, я всегда останавливаюсь у витрины и смотрю на пленные алмазы, осколки нашего утраченного царства. Они лежат в бархатных гробах, в оковах из серебра и платины. Воображение и память помогают мне вернуть им гигантские размеры, превратить их в скалы, в сады, в озера; я представляю себе голубую тень Вуг, которая отражается в их гранях. Нет, это не в моем воображении, а на самом деле Вуг приближается ко мне среди алмазов. Я оборачиваюсь. Девушка смотрит на витрины из-за моего плеча, волосы падают ей на глаза.

— Вуг! — говорю я. — Наши алмазы!

Она смеется.

— Так это ты? — спрашиваю я. — Как тебя теперь зовут?

Она дает мне свой телефон.

Мы находимся среди стеклянных плит: я живу среди мнимого порядка, хочу сказать я ей, у меня контора в Ист-сайте и дом в Нью-Джерси, на уикенд Дороти пригласила Бембергов. Над мнимым порядком не властен мнимый беспорядок, нам нужен был бы алмаз, но не тот, который мы можем иметь, а тот, который имел бы нас, свободный алмаз, в котором мы с Вуг были бы свободными атомами...

— Я позвоню тебе, — говорю я ей, только потому, что мне хочется снова начать с нею ссориться.

Там, где в кристалл алюминия случайно попадали атомы хрома, к его прозрачности примешивалось темно-красное: так под нашими ногами расцветали рубины.

— Ты видишь, — говорила Вуг, — разве они не красивые? Мы не могли пройти через долину рубинов, не затеяв ссоры.

— Да, — отвечал я, — потому что правильность равносторонних многогранников...

— Уфф, — перебивала она. — Ты еще скажешь, что без примеси инородных атомов получились бы рубины!

Я начинал злиться. Мы могли без конца спорить, что красивее, но уже можно было сказать с уверенностью, что Земля

идет навстречу желаниям и вкусам Вуг. Расщелины, трещины, из которых поднимается лава, расплавляя утесы и перемешивая минералы, создавая неожиданные конгломераты, — таков был ее мир. Видя, как она ласкает гранитные стены, я оплакивал утраченную в этих скалах чистоту полевого шпата, слюды и кварца, а ее, казалось, трогало только одно: дробное многообразие, которое приобрел теперь облик мира. Как нам было понять друг друга? Для меня имели цену только однородность, неделимость, достигнутый покой, для нее — только разделение и смесь, одно вещество, или другое, или оба вместе. Нам тоже только предстояло обрести облик, до тех пор пока кристалл-я не сольется с кристаллом-Вуг и пока мы вместе не станем, быть может, единым целым с кристаллом-миром. А она, казалось, уже знала, что законом живой материи будет разделение и перспектива воссоединиться лишь в бесконечности. Так, значит, права была Вуг?

В понедельник я звоню ей. Погода стоит совсем летняя. Мы вместе проводим день на Стэйтен-Айленд, растянувшись на пляже. Вуг смотрит, как песчинки сыплются у нее между пальцами. — Сколько крохотных кристаллов... — говорит она.

Мир осколков, окружающий нас, для нее остается прежним миром, тем миром, каким мы ожидали увидеть его, когда он родился из раскаленной массы. Конечно, кристаллы до сих пор придают миру форму, их расколотые, еле видимые обломки обкатаны волнами, заключены в скорлупу из всех элементов, растворенных в морской воде, спаяны в обрывистые скалы, в утесы из песчаника, который сто раз рассыпался и отвердевал, в плиты шифера и сланца, в гладко поблескивающий мрамор; они сделались подобием того, чем могли бы стать и чем уже никогда не станут.

Я опять начинаю упрямяться, как в те времена, когда стало ясно, что я проиграл, что земная кора превращается в нагромождение разрозненных форм, а я не желал примириться с этим и при виде всякой неровности очертаний, на которую

радостно указывала мне Вуг, пытался убедить себя, будто все кажущееся нам на первый взгляд асимметричным имеет где-нибудь соответствие, так как включается на самом деле в столь сложную кристаллическую сетку, что постичь ее нет никакой возможности (но я все же принимался вычислять, сколько миллиардов граней и ребер должен иметь тот кристалл-лабиринт, тот сверхкристалл, который включит в себя все кристаллы и некристаллы).

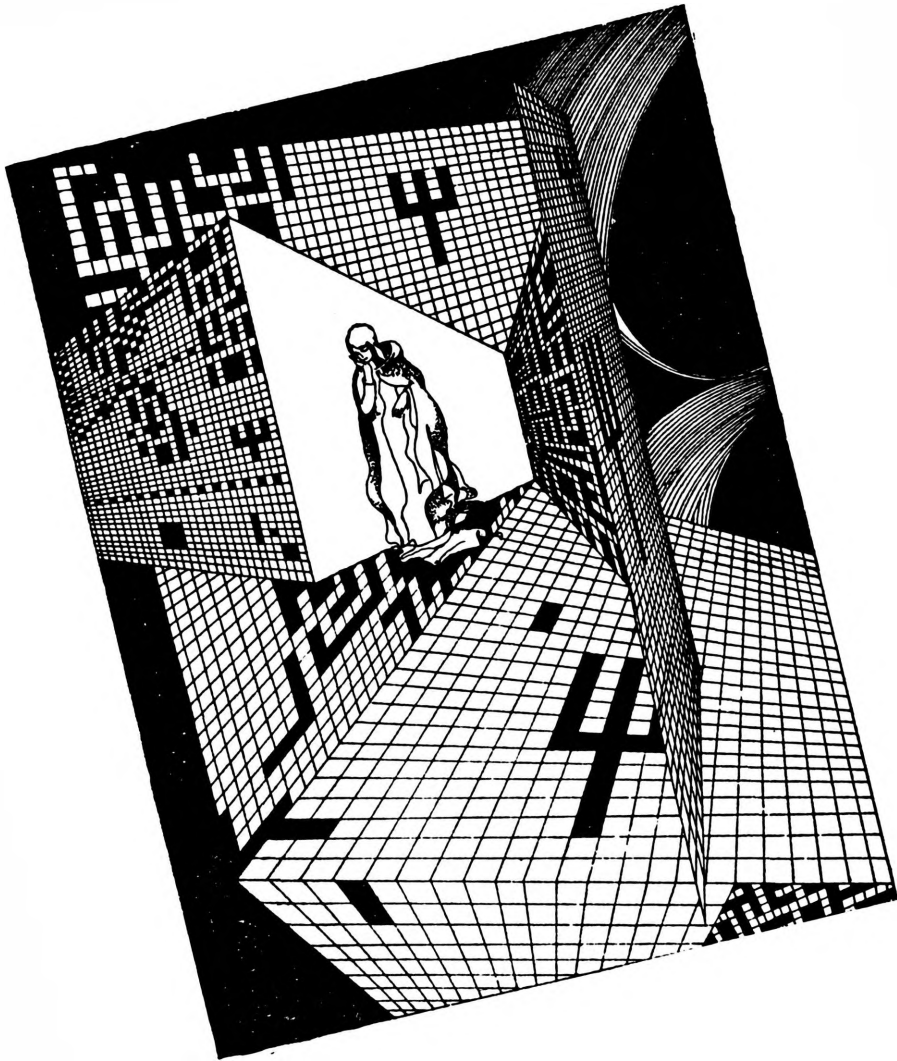
Вуг принесла с собой на пляж маленький транзисторный приемник.

— Все происходит от кристалла, — говорю я, — даже музыка, которую мы слушаем. — Но я знаю, что кристалл транзистора неполон, нечист и неоднороден, что в плетенке его атомов множество изъянов.

— Ты одержимый, — отвечает она.

И наш старый спор возобновляется. Она хочет заставить меня согласиться, что настоящий порядок — это тот, который несет в себе неоднородность и разрушение.

Катер подходит к Бэтри, наступил вечер, в светящихся сетках окон, составляющих призмы-небоскребы, я вижу теперь только черные провалы и бреши. Я провожаю Вуг до дома, поднимаюсь к ней. Она живет в Даунтауне, содержит фотоателье. Я гляжу вокруг и вижу только сплошные нарушения в порядке атомов: люминесцентные трубки, линзы, скопления крохотных кристалликов серебра на фотопластинках. Я открываю холодильник, беру лед для виски, из транзистора доносятся звуки саксофона. Тот кристалл, которым стал мир, тот кристалл, в котором мир увидел самого себя, в котором он преломляется на тысячи образов-искр, — это не мой кристалл. Он источен, нечист, неоднороден. Победа таких кристаллов (и победа Вуг) равнозначна поражению Кристалла (и моему поражению). И сейчас я жду, пока кончится пластинка, чтобы сказать об этом Вуг.



НА СКОЛЬКО СПОРИМ?

Кибернетическая логика применительно к истории вселенной позволяет сделать вывод, что галактики, солнечная система, Земля, клетка не могли не возникнуть. Согласно кибернетике вселенная образуется в результате ряда позитивных и негативных ретрореакций: сначала под действием силы тяготения, которая концентрирует массу водорода в плотное первичное скопление, а затем под действием ядерной энергии и центробежной силы, уравнивающей силу тяготения. С той минуты, как этот процесс начался, он не может не подчиняться логике последовательных цепных реакций.

— Да, но вначале это не было известно, — уточнил старый QiwíQ, — вернее, кое-кто мог это предугадать, но случайно, прежде всего по наитию. Не стану хвастать, но я сразу рискнул заключить пари, что вселенная непременно должна возникнуть, и, представьте себе, попал в точку, да и потом я выиграл не одно пари у Декана (К)УК, с которым мы спорили насчет того, как эта вселенная будет развиваться.

Когда мы впервые держали пари, не было ничего, что позволило бы предугадать хоть что-нибудь, за исключением, правда, нескольких блуждающих частиц — электронов, рассыпанных там и сям, и протонов, двигавшихся совершенно хаотически. Но я каким-то непонятным образом уловил, что погода меняется (и в самом деле начало холодать), и говорю Декану:

— Давай поспорим, что настал черед атомов.

— Не смей меня, дорогой! Атомы! Спорю на что угодно, их не будет! — отвечает Декан (К)УК.

— Даже на «Х» спиришь? — подзадориваю я.

— Даже на «Х» в степени «п»!

Не успел он закончить фразу, как вокруг каждого протона с гудением закружился электрон, и в пространстве сгустилось огромное водородное облако.

— Ну, что я говорил?! Видишь, везде полно атомов!

— Какие же это атомы! — воскликнул (К)УК, который имел

скверную привычку препираться вместо того, чтобы честно признать, что проиграл пари.

Мы с Деканом все время держали пари, потому что больше вообще нечем было заняться, да и единственным доказательством моего существования были пари с ним, так же как единственным доказательством его существования были пари со мной. Мы держали пари, произойдут или не произойдут те или иные события. Перед нами открывались практически неограниченные возможности, так как вплоть до той минуты не произошло абсолютно ничего. Но поскольку нелегко было даже вообразить, как может произойти какое-либо событие, мы решили условно обозначать каждое: событие «А», событие «В», событие «С» и так далее. Или, вернее, поскольку тогда не существовало ни алфавита, ни другого вида условных знаков, мы вначале держали пари на то, какими могут быть эти условные знаки, а затем обозначили этими возможными знаками возможные события так, чтобы хоть с минимальной точностью определить то, что должно произойти и о чем мы ровным счетом ничего не знали.

Не знали мы и на что спорить, ведь не было ничего, что могло бы служить ставкой. Поэтому спорили мы на слово: каждый подсчитывал, сколько пари он выиграл, а затем подводился итог. Впрочем, и это нелегко было сделать, ибо тогда не только не было цифр, но и не существовало само понятие числа, так что мы даже не могли вести счет, и все было спутано.

Положение несколько изменилось, когда в протогалактиках стали конденсироваться протозвезды; едва температура начала подниматься, как я мгновенно догадался, чем все это должно кончиться.

- Теперь они зажгутся! — сказал я.
- Ерунда! — воскликнул Декан.
- Держим пари? — предложил я.
- На сколько угодно, — ответил Декан.

И в тот же миг тьму прорезал блеск сверкающих, непрерывно расширяющихся шаров.

— Э, но это вовсе не значит зажечься... — начал было (К)УК, стремясь, как всегда, свести все к спору о словах.

Но у меня был свой способ заставить его молчать.

— Ах так?! Что же, по-твоему, означает «зажечься»?

Он сразу умолк. Воображение у него было убогое, и едва слово приобретало определенное значение, он уже не допускал, что оно может означать и нечто другое.

Вообще не надо было долго пробыть с Деканом (К)УК, чтобы убедиться, что человек он скучный, примитивный, не способный рассказать что-либо путное. Впрочем, и мне особенно нечего было рассказывать, потому что событий, достойных упоминания, к тому времени еще не случилось; по крайней мере нам так казалось.

Нам оставалось лишь строить гипотезы — точнее, строить гипотезы о том, какие гипотезы можно построить. И в этом мое воображение оказалось куда богаче, чем у Декана, оно было моим преимуществом и одновременно моим слабым местом, потому что вовлекало меня в самые рискованные споры, из-за чего вероятность выигрыша у нас в конечном счете была примерно одинаковой.

Обычно я ставил на то, что событие может произойти, а Декан почти всегда на то, что оно не произойдет. У него было статичное восприятие действительности, если можно так выразиться, — ведь тогда не различали, как сейчас, разницу между статикой и динамикой, или, во всяком случае, нужно было напрячь все внимание, чтобы различить их.

К примеру, звезды начинали расширяться, и я сразу же спрашивал у Декана:

— Отвечай, на сколько?

При этом я старался перевести спор в сферу чисел, чтобы ему потом было труднее отыскать повод для препирательств.

В те времена цифровых значений было всего два: число « Σ » и число « π ». Декан прикидывал на глазок и говорил:

— До « Σ » в степени « π »!

Тоже мне хитрец выискался! Такой расчет мог сделать каждый. Но я-то знаю, что дело обстояло куда сложнее.

— Давай поспорим, что рост звезд в какой-то момент прекратится.

— Идет. Ну и на чем он остановится, по-твоему?

Тут я решил играть ва-банк и выпалил:

— На « π »!

Так оно и вышло. Декан даже застыл от изумления.

Вот с того момента мы и стали держать пари на числа « Σ » и « π ».

— π ! — кричал Декан, впиваясь взглядом во тьму, которую изредка разрывал свет новых звезд. А звезды вдруг останавливались в своем росте на « Σ ».

Понятно, спорили мы лишь ради развлечения, потому что выгоды от этих пари ни один из нас получить не мог. Когда начали образовываться элементы, мы стали заключать пари на атомы самых редких элементов, и тут я допустил промах. Заметив, что самым редким элементом был технеций, я стал постоянно спорить на технеций и все время выигрывал. Вскоре у меня скопился целый капитал из технеция. Но я не предусмотрел, что технеций — элемент радиоактивный и что он быстро распадается. Пришлось мне начинать все сызнова.

Что и говорить, я тоже проигрывал, но потом неизменно брал реванш. И это позволяло мне делать подчас весьма рискованные прогнозы.

— Вот сейчас появится изотоп висмута! — объявил я однажды, наблюдая, как брызжут расплавленные элементы из пылающей сверхновой звезды. — Хочешь держать пари?

Смех, да и только, ведь в итоге возник чистейший атом полония!

В таких случаях (К)уК преехидно ухмылялся, словно он благодаря собственным заслугам выиграл пари, хотя на самом деле только мой слишком рискованный прогноз принес ему победу.

Но чем больше мы спорили, тем яснее становились мне законы образования вселенной, и после одной-двух ставок наугад я уже мог основывать свои прогнозы на точных расчетах. Причины, по которым одна галактика с полной закономерностью возникала на расстоянии именно столько-то миллионов световых лет от другой, всегда становились мне понятными значительно раньше, чем Декану.

Вскоре предугадывать такие явления мне стало так легко, что я даже утратил вкус к спорам.

На основании уже известных данных я пытался вывести другие, из этих новых данных — последующие. и так до тех пор, пока не удавалось сформулировать гипотезу, которая на первый взгляд не имела ничего общего с предметом нашего спора. И я смело ее выкладывал.

К примеру, мы однажды строили предположения о кривизне галактических спиралей, и вдруг я задал вопрос:

— Скажи-ка, (К)уК, как, по-твоему, вторгнутся ассирийцы в Месопотамию?

Он совсем растерялся.

— Кто? Когда вторгнется?

Я молниеносно подсчитал в уме и назвал дату, но, понятно, не год и не век — тогда вообще не существовало такой меры времени, и, чтобы указать точную дату, нам приходилось прибегать к таким сложным формулам, что, вздумай я их записать, они заняли бы всю классную доску.

— А как же мы потом узнаем?

— Перестань выкручиваться, (К)уК, отвечай: вторгнутся или нет? По-моему, вторгнутся, по-твоему — нет. Ну, так держим пари? Идет?

Вокруг нас все еще была беспредельная пустота, прорезан-

ная кое-где полосками водорода у самых кипящих клубков первых созвездий. Конечно, нужны были очень сложные логические построения, чтобы провидеть долины Месопотамии, в которых черным-черно от пеших воинов, всадников, копий и труб; но когда нет других занятий, можно и этого добиться.

Между тем Декан всегда отрицал любую возможность и не потому, что он не верил, скажем, в агрессивные намерения ассирийцев, — просто он считал, что ассирийцы, Месопотамия, Земля и род человеческий вообще никогда не возникнут.

Само собой разумеется, такого рода пари заключались на более долгие сроки, чем другие, когда результат можно было определить сразу.

— Видишь, там, в высоте, образуется Солнце, и вокруг него эллипсоиды? Ну-ка, Декан, назови тут же, до того, как возникнут планеты: на каком расстоянии одна от другой будут их орбиты?

Не успел я задать вопрос, как за каких-нибудь восемьдесят... нет, даже за шесть-семь сотен миллионов лет появлялись планеты и начинали вращаться: каждая по своей орбите, абсолютно точно предсказанной мною.

Но куда большее удовлетворение я получал от таких пари, когда приходилось миллиарды и миллиарды лет помнить, о чем и на что шел спор; одновременно надо было помнить о спорах на более короткие сроки, о количестве пари (настало время чисел, и это несколько осложнило дело), выигранных одним и другим, и о сумме ставок. Надо заметить, что мой выигрыш непрерывно возрастал, и Декан по уши залез в долги. В довершение всего мне беспрестанно приходилось придумывать все новые темы для спора, двигаясь все дальше от дедукции к дедукции.

— Восьмого февраля 1926 года в городе Сантии, в провинции Верчелли, на улице Гарibaldi, восемнадцать (ты успеваешь следить, Декан?) синьорина Джузеппина Пенсотти, двадцати двух

лет от роду, выйдет из дому без четверти шесть. Куда она свернет — направо или налево?

— Но-о-о... — начал мямлить (К)УК.

— Не тяни, отвечай. Я утверждаю, что она пойдет направо...

И сквозь облако космической пыли, в которой прочертили свои орбиты созвездия, я увидел, как на улицы города Сантья опустилась мгла, как зажегся фонарь, с трудом освещавший полосу заснеженного тротуара, как свет фонаря на миг выхватил из темноты стройную фигурку Джузеппины Пенсотти, которая возле старой важни свернула направо и сразу исчезла.

Что же до небесных тел, то у меня не было больше нужды заключать пари: я мог спокойно ждать, когда мои предсказания сбудутся, и класть денежки Декана в карман. Но страсть к спорам заставляла меня предсказывать не просто события, но и бесконечную цепь вытекающих из них последствий, подчас совершенно случайных и весьма гадательных. Вскоре я даже научился сочетать прогнозы ближайших, легко поддающихся расчетам событий с другими, требующими крайне сложных вычислений.

— Видишь, как сгущаются планеты? Определи, на какой из них появится атмосфера? На Меркурии? Венере? Земле? Марсе? Ну, живее, Декан, живее! Отвечай же!.. Отлично, ну, а теперь высчитай средний процент роста населения на Индостанском полуострове в период английского господства. Что это ты так долго думаешь? Шевели мозгами.

Я нашел для себя неиссякаемый источник, в котором события так и кипели, и мне оставалось лишь черпать их горстями и бросать в лицо моему противнику, который даже не подозревал о самом их существовании. В тот раз, когда я почти машинально спросил: «Арсенал» встречается с «Реаль-Мадридом» в полуфинале. «Арсенал» играет на своем поле. Кто победит?», — мне сразу же стало ясно, что этот, казалось бы, случайный набор слов таит в себе неисчерпаемые возможности новых комбинаций зна-

ков, которыми тусклая и однообразная действительность пытается завуалировать свою монотонность; а может быть, полет в будущее, полет через время и пространство, который я предвосхитил и предсказал, должен был в конце концов привести лишь к таким вот мелочным альтернативам, сойти на нет в невидимых геометрических узорах из треугольников и зигзагов, прочерчиваемых мячом среди белых линий футбольного поля, линий, которые я пытался увидеть мысленным взором на дне сверкающей бездны мирового пространства, стараясь разобраться при этом на футболках игроков номера, трудноразличимые в далекой ночной мгле?

Отныне я все время обращался к этому источнику новых возможностей, держа пари на все деньги, выигранные мною прежде.

Кто мог теперь меня остановить? Постоянный скептицизм Декана лишь подзадоривал меня, побуждая рисковать еще отчаяннее. Когда я обнаружил, что попал в ловушку, было уже поздно. Правда, я получил удовлетворение, весьма слабое, от того, что сам первым это заметил: (К)ук, видимо, не догадывался, что фортуна повернулась к нему лицом, но я-то вел счет его ехидным ухмылкам, прежде весьма редким, а теперь все более и более частым.

— Q!w!Q, а ведь у фараона Аменхотепа Четвертого так и не родилось сыновей! Видишь, я выиграл.

— Q!w!Q, вот видишь, Помпей не разбил Юлия Цезаря! Ну, что я говорил?

Между тем я все высчитал с абсолютной точностью, не упустив из виду ни единого фактора. Если бы мне даже пришлось начать все сначала, я бы, не задумываясь, согласился вновь держать пари.

— Q!w!Q, при императоре Юстиниане в Константинополь был завезен из Китая не порох, а шелковичный червь. Или, быть может, опять я ошибся?

— Нет, нет, ты выиграл, Декан.

Конечно, я отважился предугадывать мимолетные, не поддающиеся точной оценке события и при том делал это многократно, так что теперь у меня не было пути назад; я не в силах был ничего исправить, хотя, собственно, что я должен был исправить? И на каком основании?

— Так вот, QfwiQ, в конце «Утраченных иллюзий» Бальзака Люсьен де Рюбампре не кончит с собой. Его спасет Карлос Эррера, он же Вотрен, — говорил мне Декан торжествующим тоном, который появился у него с недавних пор.

— Кстати, этот Вотрен фигурирует уже в романе «Отец Го-рио». Ну, каков теперь дебет-кредит, QfwiQ?

Мой выигрыш постепенно таял. Я обратил свои капиталы в твердую валюту и поместил их в надежное место — в один из швейцарских банков, но теперь мне то и дело приходилось снимать крупные суммы, чтобы выплачивать очередной проигрыш. Правда, я не каждый раз проигрывал. Иногда мне случалось и выигрывать, и подчас крупно. Но теперь мы с Деканом как бы поменялись ролями: даже одержав верх, я не был уверен, что не обязан своей победой случайности и что в следующий раз мои расчеты не будут вновь опровергнуты.

Для наших целей нужна была целая библиотека справочных изданий и книг, подписка на специальные журналы и, кроме того, сложнейшие счетно-вычислительные машины. Все это, как известно, было нам предоставлено научным фондом, к которому мы, поселившись на Земле, обратились с просьбой оказать финансовую помощь нашим исследованиям. Само собой разумеется, наши споры мы изобразили эдакой невинной забавой, и никто даже не подозревал, на какие крупные суммы заключались пари.

Официально мы жили на скромное месячное жалование работников исследовательского центра электронных прогнозов плюс дополнительный оклад, выплачиваемый (К)УК за почетную должность Декана, которую он умудрился получить благодаря

своей олимпийской невозмутимости и умению даже пальцем не пошевелить. Пристрастие (К)уК к созерцательной неподвижности возросло до такой степени, что на факультет он прикатил в кресле на колесиках, точно самый настоящий паралитик. Кстати, в интересах истины должен заметить, что титул Декана не имеет ничего общего со званием заслуженного ученого, в противном случае я имел бы на него не меньше прав, чем (К)уК; впрочем, меня это мало волнует.

Так, постепенно, мы пришли к следующему положению: Декан с лоджии своего уютного домика, сидя в кресле на колесиках, кричит мне, да так громко, что его слышно на другом конце поселка:

— QiwfQ, договор об атомном оружии между Турцией и Японией не был подписан. Даже и переговоры еще не начались. Понятно тебе? — При этом ноги его буквально утопают в ворохе газет и журналов, прибывших из разных стран с утренней почтой.

— QiwfQ, женоубийца из Термини Имерезе был приговорен не к пожизненному заключению, а к трем годам тюрьмы! А я что говорил?!

Декан победоносно размахивает еженедельниками, чьи белочерные страницы похожи на пространство в период образования галактик, и так же, как оно, полны отдельных черных корпускул, и сами по себе эти корпускулы, вокруг которых пустота, лишены смысла и цели. А я думаю о том, как чудесно было прежде вычерчивать в этой пустоте прямые линии и параболы, точно определять точку пересечения времени и пространства, в которой произойдет событие, что потом неоспоримо подтверждалось яркой вспышкой во тьме. Теперь же одно событие катится за другим неудержимо, словно серая лавина; события эти, на первый взгляд как будто бы и понятные, но лишенные всякого внутреннего смысла, располагаются рядом, длинными колонками, вклиниваются одно в другое, разделенные лишь черными нелепыми заголовками. Эта бесформенная лава событий

течет без направления, затапливая, опрокидывая и сметая всякую логику.

— Знаешь, QfwfQ, акции на Уолл-стрите перед закрытием биржи упали на два пункта, а не на шесть! Здание, незаконно построенное на виа Кассия, не девяти-, а двенадцатиэтажное. Вот так-то! И «Неарх Четвертый» выиграл заезд в Лоншане, опередив ближайшего соперника ровно на два корпуса. Ну, каков теперь дебет-кредит, QfwfQ?



ВОДЯНОЙ ДЯДЮШКА

Первые позвоночные, переселившись в каменноугольный период из воды на землю, произошли от костистых рыб с легочным дыханием, которые могли пользоваться грудными и брюшными плавниками, как лапами, для передвижения по суше.

— Теперь уже было очевидно, что времена воды миновали, — вспоминал старый QfwfQ. — Тех, кто не боялся сделать решительный шаг, становилось все больше, и не было семьи, хоть один из членов которой не обитал бы на земле, не рассказывал бы поразительные истории о суше, о широком поле деятельности, открывавшемся там, и не призывал бы родственников последовать хорошему примеру. Теперь уже никому не приходило в голову останавливать молодых рыб, когда они хлопали плавниками по илистому берегу, пробуя, могут ли плавники служить им лапами, как служили самым способным из рыбьего племени. Но именно в те времена все отчетливее проявлялись различия между нами: у некоторых семей на сушу переселились еще прадеды, и молодежь своими повадками напоминала уже даже не земноводных, а пресмыкающихся. Встречались, однако, и такие, что не только по-прежнему оставались рыбами, но и становились ими в большей степени, нежели это было некогда принято.

Должен сказать, что наше семейство в полном составе, с дедками и бабками во главе, гоняло по побережью, будто мы отродясь не знали другого призвания. Если бы не упрямство старого Нба Нга, которому я приходился внучатым племянником, нас бы давно уже ничто не связывало с водным миром.

Да, у нас был дядя-рыба, родной брат моей бабушки по отцу, урожденной Челаканти-Девонской. Челаканти-Девонские — я имею в виду их пресноводную ветвь — доводились нам... Впрочем, не стоит распространяться о степени родства, тем более что никто в этом деле все равно как следует не разби-

рается. Так вот, этот самый дядюшка жил на мелководье, среди ила и корней первобытных хвойных деревьев, в той части лагуны, где родились все наши старики. Он никогда не покидал тех мест: в любое время года достаточно было подойти по топкому грунту поближе к воде, пока под лапами не захлюпает жижа, чтобы увидеть внизу, в нескольких пядях от берега, столбик пузырьков, которые пускал дядя, отдуваясь по-стариковски, или облачко ила, поднятое его острой мордой, ковырявшей дно скорее по привычке, чем в поисках какой-нибудь добычи.

— Дядюшка Нба Нга! Мы пришли навестить вас! Вы нас ждали? — кричали мы, ударяя по воде лапами и хвостами, чтобы привлечь его внимание. — Мы принесли вам новых насекомых, которые водятся в наших краях! Дядюшка Нба Нга! Вы когда-нибудь видели таких крупных тараканов? Попробуйте, они вам придутся по вкусу...

— Можете скормить им, этим вонючим тараканам, свои паршивые бородавки! — Ответ старика неизменно звучал в подобном тоне, а то и еще грубее: он всегда нас так встречал, но мы не обращали на это внимания, зная, что он быстро отойдет, смеянит гнев на милость, примет подарки и с ним можно будет разговаривать.

— Какие такие бородавки, дядюшка Нба Нга? Когда это вы видели на нас хоть одну бородавку?

Историю с бородавками, этот предрассудок, выдумали старые рыбы, считавшие, будто у нас от нового образа жизни высыпали по всему телу бородавки, выделяющие жидкость; так оно и было, но только у жаб, с которыми мы не имели ничего общего; напротив, кожа у нас была гладкая и чистая, рыбам такая и во сне не снилась, и дядюшка превосходно это знал, однако упорно сдобривал свои речи подобными выдумками, верный предрассудкам, с которыми он вырос.

Мы навещали старика раз в год, всем семейством. Судьба разбросала нас по материку, и каждый такой визит давал нам возможность собраться вместе, обменяться новостями и съедоб-

ными насекомыми, обсудить нерешенные имущественные и деловые вопросы.

Дядюшка принимал живое участие во всех наших разговорах, даже когда речь шла о делах, от которых его отделяли многие километры суши, таких, например, как распределение зон охоты на стрекоз, и становился на сторону того или иного из нас, исходя при этом из собственных представлений, — а они у него всегда были рыбьими:

— Да разве ты не знаешь, что охотиться у дна всегда выгоднее, чем на поверхности? Что же тебе еще надо?

— Позвольте, дядюшка, при чем же здесь поверхность и о каком дне вы толкуете? Я живу у подножия холма, а он вот — недалеко от воды... Видите ли, дядюшка, холмы...

— У подножия скал всегда водятся самые лучшие раки!

Он принимал в расчет только то, что его окружало, и не было возможности втолковать ему, что мы живем совсем в других условиях.

И однако, мнение старика оставалось для нас законом: как бы там ни было, в конечном счете мы просили его совета в делах, в которых он ровно ничего не смыслил, хоть и знали наперед, что можем услышать от него невесть какую чепуху. Должно быть, его авторитет объяснялся тем, что дядя был осколком прошлого — даже речь его изобиловала допотопными оборотами, такими, что мы и смысла-то их толком не понимали, например: «А ты, удалец, не ершись!»

Попыток переманить его на сушу мы предприняли немало и не оставляли их никогда; в чем, в чем, а в этом между отдельными ветвями нашей семьи никогда не прекращалось соперничество, ибо тот, кому посчастливилось бы заполнить дядю к себе, возвысился бы, так сказать, в глазах родни. Увы, соперничество это ни к чему не приводило: расставаться с лагуной старик и в мыслях не имел. Мы подступались к нему:

— Дядюшка, если б вы только знали, как тяжело нам каж-

дый раз оставлять вас одного в этой сырости, ведь в ваши годы... Знаете, мы решили...

— Знаю, всегда знал, что вы одумаетесь, — перебивал нас дядюшка-рыба. — Каково плескаться в лужах на суше, вы испытали на собственной чешуе, вот и пора вам возвращаться во-своися и жить как нормальные твари. Воды здесь на всех хватает, а что до пропитания, то такого урожая на червей в этих краях еще не бывало. Решили, так за чем же дело стало? Прыгайте в воду, вот и весь сказ!

— Да нет, дядюшка Нба Нга, вы нас не так поняли! Мы хотели взять вас с собой на широкий луг... Увидите, до чего там хорошо, мы выроем вам канавку, сырую, прохладную: в ней вы сможете делать что вам заблагорассудится, все равно как здесь, а со временем попробуете походить вокруг, вот увидите — у вас получится. Да и климат наш в вашем возрасте полезнее. Так что, дядюшка Нба Нга, не заставляйте себя уговаривать. Ведь вы со-гласны, правда?

— Нет, — сухо отвечал дядя, ныряя вниз носом, и пропал из виду.

— Но почему же, дядюшка? Что вас тут не устраивает? При вашей широте взглядов это предвзятое отношение...

Всплеск на поверхности воды приносил последние слова, которыми старик удостаивал нас, прежде чем зарыться в песок, взмахнув не потерявшим былой гибкости хвостом:

— Пусть плавают брюхом в грязи те, у кого блохи в чешуе!

В его времена, верно, было в ходу такое выражение (вроде нынешней куда более краткой поговорки: «У кого свербит, по-чешись!»); слово же «грязь» дядя употреблял во всех случаях, когда мы говорим «земля».

В ту пору я влюбился. Я проводил целые дни с Lll, бегая с ней наперегонки. Такого проворного создания, как она, никто еще отродясь не видывал: на верхушки папоротников — а они были тогда высокими, вроде нынешних деревьев, — она взлетала одним махом, и папоротники склонялись почти до самой

земли, а она прыгивала с них и мчалась дальше; медлительный и неуклюжий по сравнению с LII, я как мог старался не отставать от нее. Мы забирались с ней в глубь материка, где до нас никто не оставлял следов на сухой, схваченной коркой почве; случалось, я останавливался — мне делалось страшно, что я очутился в такой дали от зеркала лагун.

Но, глядя на LII, я тут же забывал все свои страхи: песчаные и каменные пустыни, широкие луга, лесные заросли, скалы, кварцевые горы — все это было ее миром, миром, будто специально созданным для того, чтобы она всматривалась в него взглядом продолговатых глаз и, извиваясь, скользила по нему на своих быстрых лапах. Глядя на ее гладкую кожу, можно было подумать, что на свете никогда не существовало чешуи.

Что меня несколько смущало, так это родственники LII; она принадлежала к одной из тех семей, которые обосновались на земле в более далекие времена и в конце концов внушили себе, будто они испокон веков жили здесь и только здесь; к одной из тех семей, где дамы даже яйца теперь уже откладывали на суше и яйца эти были защищены прочной скорлупой. Все в LII — ее порывистость, ее молниеносные движения, — все говорило о том, что она родилась в точности такой, какой я ее видел сейчас, вылупилась из яйца, нагретого песком и солнцем, и не знала стадии плавающей личинки, никогда не была головастиком, а ведь этого до сих пор не минует никто в наших менее развитых семьях.

Пришло время познакомиться LII с моей родней, и так как самым старшим и уважаемым в нашей семье был дядя Нба Нга, я не мог не нанести ему визита и не представить свою невесту. Но всякий раз, как для этого представлялся случай, я колебался и откладывал важную встречу со стариком: зная, в духе каких предрассудков воспитывалась LII, я все еще не осмеливался признаться ей, что у меня есть дядя-рыба.

Как-то раз мы забрели на один из выдающихся в лагуну сырых мысков, где почва состояла не столько из песка, сколько из

спутанных корней и сгнивших растений. Lll по обыкновению бросила мне вызов, предложив померяться ловкостью:

— QfwfQ, посмотрим, как ты умеешь держать равновесие! А ну, кто дальше пробежит по самой кромке воды?

И она устремилась вперед; но для нее это был непривычный грунт, и первое же ее движение оказалось менее уверенным, нежели обычно.

На сей раз я чувствовал, что сумею не только не отстать от нее, но и одержать верх — для моих лап не было лучшей опоры, чем сырой грунт.

— Пока мы у самой кромки, сколько угодно! — воскликнул я. — Как, впрочем, и за кромкой!

— Не болтай глупостей! — одернула она меня. — Как можно бегать по ту сторону кромки? Ведь там вода!

Видимо, случай был вполне подходящий, чтобы завести разговор о моем двоюродном дяде.

— Ну и что? — спросил я. — Одни бегают по ту сторону кромки, другие — по эту.

— Скажешь тоже!

— А вот и скажу! Мой собственный дядюшка Нба Нга чувствует себя в воде не хуже, чем мы с тобой — на земле, и вообще с водой никогда не расставался!

— Вот как? А нельзя ли поглядеть на этого самого Нба Нга?

Не успела она произнести дядино имя, как на мутной поверхности лагуны булькнули пузырьки, потом появилась небольшая воронка, и из воды высунулась голова, покрытая колючей чешуей.

— Ну вот я! В чем дело? — спросил дядя, уставившись на Lll круглыми и невыразительными, как камни, глазами и рездувая жабры на массивной шее.

Никогда прежде он не казался мне таким непохожим на нас: ни дать ни взять чудовище.

— Дядюшка, если вы не возражаете, это... я хотел бы... я имею честь представить вам... мою невесту Lll, — и я указал на

нее, а она тем временем для чего-то села на задние лапы и вся приосанилась, приняв одну из самых изысканных своих поз, которую наверняка меньше всего мог оценить этот старый невежа.

— Здесь так хорошо, синьорина! Вы, верно, пришли ополоснуть хвостик? — ляпнул старик.

Возможно, в его времена подобная фраза и была верхом любезности, но для нашего слуха она звучала просто непристойно.

Я посмотрел на LII, уверенный, что она немедленно повернется и бросится прочь, оскорбленно повизгивая. Но я не учел, сколь сильна в ней привитая воспитанием привычка не обращать внимания на грубость окружающих.

— Простите, меня интересуют эти растеньица, — начала она непринужденно и указала на огромные камыши посреди лагуны. — Не скажете ли вы, где скрываются их корни?

Вопрос из тех, какие задают обычно, чтобы как-то поддержать разговор: еще бы, можно себе представить, до чего интересовали ее всякие там камыши! Но старик, казалось, только и ждал случая: он пустился подробно объяснять все, что касается корней торчащих из воды деревьев, и разглагольствовать о том, как плавать между этими корнями; послушать его, так лучшие места для охоты — именно там, под водой.

И пошел, и пошел! Я только пыхтел и все пытался перебить его. А что делает тем временем моя дурочка? Думаете, она молчит, отказывается поддерживать беседу?

— Ах вот как, вы охотитесь среди плавучих корней? До чего интересно!

Я готов был провалиться со стыда.

А он:

— Не подумайте, будто я сочиняю. Червяки там — прямо объедение!

И, недолго думая, ныряет, да с такой ловкостью, какой я за ним никогда прежде не замечал. И не просто ныряет, а высоко

выпрыгивает из воды, вытянувшись во всю длину, покрытый с головы до хвоста пятнистой чешуей, колючие плавники оттопырены веерами; описав в воздухе красивый полукруг, старик входит в воду вниз головой и мгновенно исчезает, орудуя серповидным хвостом, точно винтом.

При виде всего этого слова, которые я приготовил, чтобы тут же начать оправдываться перед Lll, воспользовавшись его исчезновением, застряли у меня в горле. А оправдываться я собирался примерно так:

— Знаешь, дорогая, его можно понять, со своей навязчивой идеей жить по-рыбьи он дошел до того, что в конце концов стал похож на рыбу...

Откровенно говоря, я и сам никогда не отдавал себе отчета в том, насколько был рыбой брат моей бабушки.

Едва я произнес: «Lll, уже поздно, пойдем...», — как старик снова всплыл, держа в губах гирлянду червяков и грязных водорослей.

Когда мы, наконец, ушли, мне не верилось, что все это произошло наяву. Молча трусая за Lll, я не сомневался, что сейчас она начнет прохаживаться по дядиному адресу, то есть что худшее для меня впереди. И вот Lll, не останавливаясь, поворачивает голову в мою сторону:

— А он симпатичный, твой дядюшка!

И все, ни слова больше.

Перед ее иронией я уже не раз оказывался безоружным, но от этой реплики меня пронизал такой холод, что я скорее предпочел бы потерять Lll, чем возвращаться с ней к разговору о моем родственнике.

Однако мы встречались, как раньше, вместе гуляли и больше не говорили о том, что произошло на лагуне. Правда, я по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке и изо всех сил старался внушить себе, что она все забыла; иногда во мне шевелилось подозрение, что она молчит нарочно, выжидая случая выставить меня на всеобщее посмешище, осрамить в присутствии своих

родственников, или — и это было для меня хуже всего — что лишь из жалости она старается говорить о другом. Так продолжалось до тех пор, пока в одно прекрасное утро она в упор не спросила:

— Послушай, а почему ты больше не водишь меня к своему дяде?

— Ты шутишь? — пролепетал я еле слышно.

Как бы не так: она говорила вполне серьезно, она дождалась не могла случая снова поболтать со старым Нба Нга! Я ничего не понимал.

На этот раз наш визит был более продолжительным. Мы улеглись все втроем на покато́м берегу: дядюшка — чуть ниже, но и мы с LII наполовину в воде, так что, глядя издали, невозможно было, наверное, сказать, кто из нас подводный житель, а кто земной.

Дядюшка завел одну из любимых песен — о превосходстве дыхания под водой над воздушным дыханием. «Ну, теперь-то уж LII не удержится и поставит его на место», — подумал я. Ничуть не бывало, в тот день LII избрала иную тактику: она горячо спорила, отстаивая нашу точку зрения, но делала это так, будто принимала всерьез бредни старого Нба Нга.

Земли, поднявшиеся из воды, — это, по мнению дяди, явление временное, им предстояло исчезнуть так же, как они появились, ибо — уж это наверняка! — ничего хорошего их не ждало: старик предрекал им извержения вулканов, оледенения, землетрясения, образование складок, изменение климата и растительности. И наша жизнь под воздействием всех этих переворотов должна была подвергаться постоянным изменениям — в результате целые племена, по дядиным словам, обречены на вымирание и выживут лишь твари, способные в корне перестроить свое существование до такой степени, что и радоваться жизни они разучатся, потому что все приятное тоже станет совсем другим.

Дядя нарисовал перспективу, решительно несовместимую с

оптимизмом, в духе которого мы, дети суши, воспитывались; и я, возмущенный, никак не мог с ним согласиться. Подлинным, живым опровержением дядиной теории для меня была LII: я видел в ней совершенную, окончательную форму, результат освоения выступивших из воды земель, свидетельство новых неограниченных возможностей, открывшихся перед живыми существами. Как мог, как смел этот старый хрыч отрицать реальность того, что воплощала в себе LII? Я пылал полемической страстью, и мне казалось, что моя подруга слишком либеральна, терпима к носителю чуждых нам воззрений.

Разумеется, для меня, прежде не слышавшего от дяди ничего, кроме брюзжания и грубостей, эти тонкие рассуждения были полной неожиданностью, — пусть даже они, по обыкновению, изобиловали странными, высокопарными оборотами речи и звучали смешно из-за характерного дядиного выговора. Поразительно было и то, что старик выказывал изрядную осведомленность — пусть даже осведомленность стороннего наблюдателя — в отношении материка.

Но LII, как это явствовало из ее вопросов, хотелось побольше услышать от него о жизни под водой, и тут дядюшкина речь становилась более сжатой, а подчас и вдохновенной. В отличие от земли и воздуха, которым грозили разного рода неожиданности, за будущее лагун, морей и океанов можно было не беспокоиться. Здесь перемены будут минимальными, жизненное пространство и запасы пищи тут неограниченные, опасные колебания температуры не предвидятся; одним словом, жизнь будет такой же, какой была доньше, сохранит свои окончательные и совершенные формы — без изменений, без сомнительных новшеств, и каждый сможет совершенствовать свою природу, познать самого себя и все окружающее. Старик говорил о будущем обитателей вод, ничего не приукрашивая и не впадая в иллюзии, не скрывая проблем, в том числе и серьезных, которые могут возникнуть со временем (наибольшую тревогу вызывала у него проблема повышения солености). Но при этом ценности,

в какие он верил, и соотношение вещей должны были, по его мнению, оставаться неизменными.

— Но ведь мы теперь носимся по долинам и горам, дядюшка, — возразил я от своего имени и в первую очередь от имени Lli, которая почему-то молчала.

— Эх ты, головастик, да плюнь ты на все это, ведь, вернувшись в воду, ты вернешься домой! — отрезал дядя, снова взяв тон, каким всегда разговаривал с родными.

— А вы не думаете, дядюшка, что нам уже поздно учиться дышать под водой, даже если бы мы и захотели? — серьезно спросила Lli, и я не знал, считать ли себя польщенным тем, что она назвала моего почтенного родственника дядюшкой, или недоумевать, ибо некоторые вопросы (по крайней мере я привык так считать) даже и задавать не к чему.

— Если хочешь, солнышко, — отвечал дядя-рыба, — я тебя мигом обучу!

Lil как-то странно засмеялась и вдруг бросилась бежать, да так, что за ней было не угнаться.

Я искал ее на равнинах и холмах, забрался на вершину базальтовой скалы, царившей над пустынями и лесами, окруженными водой. Lil оказалась там. Конечно же, она, и когда слушала Нба Нга и когда убежала и спряталась наверху, хотела сказать мне — я-то ее понял! — что не следует держаться за наш мир так же упорно, как старая рыба держалась за свой.

— Мое место здесь, на земле, как дядино место там, в воде! — провозгласил я несколько театрально и тут же поправился: — Наше место, наше с тобой! — потому что, по правде говоря, без нее мне было плохо.

И что же ответила мне Lli? Я до сих пор краснею, вспоминая ее ответ, а ведь прошло уже столько геологических эпох. Она сказала:

— Эх, головастик, ничего-то ты не понимаешь. — И я не знал, вспомнила ли она дядины слова, чтобы высмеять одновременно и его и меня, или же в самом деле усвоила мане-

ру обращения этого старого хрыча с внучатым племянником. Оба предположения были в равной степени удручающими, ибо и то и другое означало, что в ее представлении я застрял где-то на полпути и не принадлежал ни к ее миру, ни к какому-либо другому.

Неужели я потерял LII? Охваченный сомнениями, я старался вновь завоевать ее сердце. Я совершал чудеса — в охоте на насекомых, в прыжках, в рытье подземных нор, в схватках с сильнейшими. Я гордился собой, но, увы, всякий раз, как я совершал очередной подвиг, LII меня не видела: она то и дело исчезала неизвестно куда.

В один прекрасный день меня осенило: ну конечно же, она ходила на лагуну, где мой почтенный дядюшка обучает ее подводному плаванию!

Я увидел, как они всплыли вместе: они скользили с одинаковой скоростью, и их можно было принять за брата и сестру.

— А знаешь, — весело сообщила она, заметив меня, — лапы прекрасно действуют как плавники!

— Поздравляю, вот это я понимаю — шаг вперед! — не удержался и съязвил я.

Разумеется, для нее это была игра. Но мне эта игра не нравилась. Я обязан был вернуть LII к действительности, напомнить о нашем будущем.

Как-то я ждал ее на крутом берегу, в зарослях высоких папоротников, спускавшихся к воде.

— LII, мне нужно поговорить с тобой, — сказал я, едва увидел ее. — Ну, порезвилась немного, и хватит. У нас с тобой есть дела поважнее. Я обнаружил проход в горной цепи: по ту сторону лежит необъятная каменная равнина, еще совсем недавно покрытая водой. Мы первыми обоснуемся там, заселим безграничные просторы — мы и наши дети.

— Безгранично только море! — изрекла LII.

— Да перестань ты повторять бредни этого старого рамо-

лика! Мир принадлежит тем, у кого есть ноги, а не рыбам, ты же прекрасно знаешь!

— Я знаю, что он — это он.

— А я?

— Ноги ногами, но ни одному из тех, кто имеет ноги, с ним не сравниться.

— А твои родственники?

— Я с ними поссорилась. Они ничего не понимают.

— Да ты с ума сошла! Нельзя же возвращаться вспять!

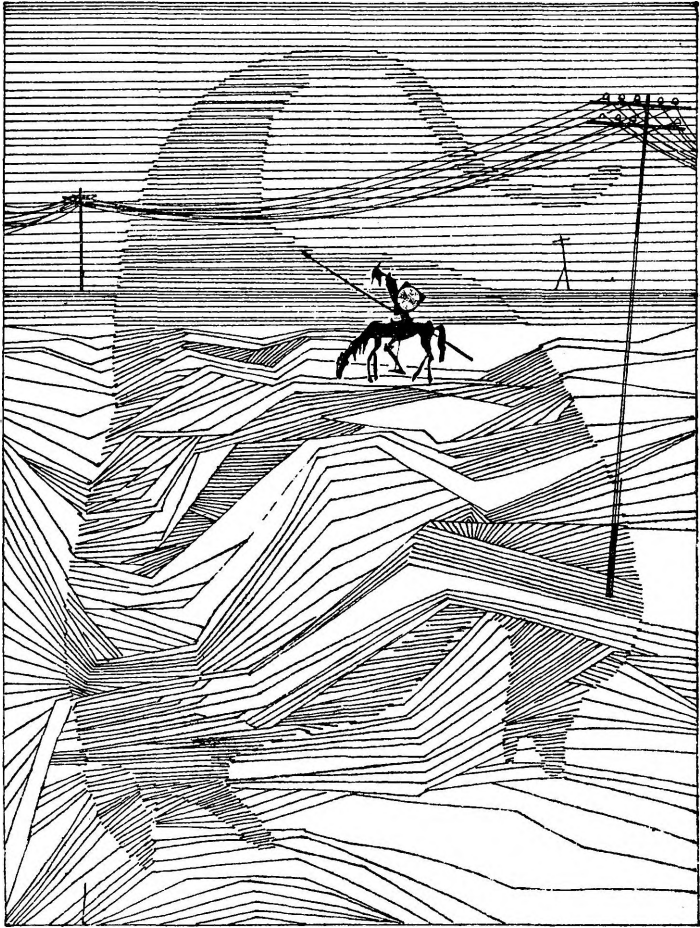
— А вот я вернусь.

— И что же ты собираешься делать вдвоем со стариком из рыбьего племени?

— Выйти за него замуж. Снова стать рыбой с его помощью и давать жизнь другим рыбам. Прощай!

И ловко, как она одна умела, Lll в последний раз вскарабкалась на верхушку папоротника, наклонила ее к поверхности лагуны и бултыхнулась в воду. Всплыла она уже не одна: массивный серповидный хвост дядюшки Нба Нга и ее хвост дружно рассекали воду.

Это был жестокий удар. Но что поделаешь? Я продолжал идти своим путем. Менялся мир, менялся я сам. Время от времени среди множества живых существ я встречал кого-нибудь, о ком больше, чем обо мне, можно было сказать, что «он» — это «он», кого-нибудь, кто предвещал будущее, — срниторинхуса, кормящего молоком младенца, вылупившегося из яйца, тощую жирафу в еще невысоких зарослях; или же кого-либо из тех, кто свидетельствовал о безвозвратном прошлом, — динозавра, уцелевшего после начала кайнозойской эры, или, например, крокодила, — о прошлом, которое сумело пройти неизменным сквозь века. Всем этим существам было свойственно нечто такое, я уверен, что делало их в чем-то выше меня и что делало меня по сравнению с ними посредственностью. И все равно я бы не поменялся ни с кем из них.



ДИНОЗАВРЫ

Таинственными остаются причины быстрого вымирания Динозавров, которые развивались и увеличивались в размерах на протяжении всего триасового и юрского периодов и в течение 150 миллионов лет были безраздельными властителями материков. Возможно, они не сумели приспособиться к резким изменениям климата и растительности, происшедшим в меловой период. В конце этого периода все они вымерли.

— Все, кроме меня, — уточнил старый Qfwfq, — ведь я тоже какое-то время был Динозавром, так примерно с полсотни миллионов лет, и несколько об этом не жалею: в ту пору быть Динозавром — значило стоять на правильном пути, и мы умели заставить уважать себя.

Потом положение изменилось; не вдаваясь в подробности, скажу только, что начались всякого рода неприятности, поражения, ошибки, сомнения, предательства, эпидемии. На Земле росло новое население, враждебное нам. На нас нападали со всех сторон, мы ничего не могли поделать. Теперь вот говорят, будто упадочное настроение, жажда гибели еще раньше были свойственны нам, Динозаврам; лично я ничего подобного никогда не испытывал: а если это можно сказать о других, то лишь потому, что они уже давно чувствовали всю безнадежность своего положения.

Я не люблю вспоминать времена великого мора. Сам я никогда бы не поверил, что останусь в живых. Путь долгих скитаний, которым я обязан своим спасением, проходил через кладбище скелетов и обрывок какой-нибудь гребень, рог, пластинка панциря или обрывок чешуйчатой шкуры свидетельствовали о былом великолепии тех, кому все это принадлежало при жизни. И над этими останками трудились клювы, клыки, присоски новых хозяев планеты. Когда мне перестали попадаться следы не только мертвых, но и живых, я остановился.

На этих пустынных плоскогорьях я провел многие годы.

И уцелевший, несмотря на засады, голод, стужу, эпидемии, я остался один. Но вечно отсиживаться там, наверху, я не мог. И тогда я направился вниз.

Мир изменился: я не узнавал больше ни гор, ни рек, ни растений. Когда я впервые увидел живые существа, я спрятался. Это было стадо Новых — существ некрупных, но сильных.

— Эй ты!

Мне не удалось остаться незамеченным, и первое, что меня поразило, была их фамильярная манера обращения. Я бросился наутек, они за мной. Тысячелетиями я привык наводить ужас на все живое и боялся лишь неожиданных реакций тех, на кого наводил страх. А тут хоть бы что:

— Эй ты!

Они преспокойно приближались ко мне, нисколько не испуганные, настроенные вполне миролюбиво.

— Ты чего убегаешь? Что с тобой?

Они хотели спросить у меня дорогу куда-то, только и всего. Я пробормотал, что сам нездешний.

— А все же, что это тебе вздумалось убежать от нас? — не отставал от меня один из них. — Можно было подумать, что ты увидел... Динозавра!

И остальные засмеялись. Но в этом смехе я впервые уловил тревожные нотки. Что-то горькое слышалось в нем, в этом смехе. А один из них вдруг стал серьезным и сказал:

— Не говори так даже в шутку. Ты ведь даже не знаешь, что это такое — Динозавры.

Выходило, что Новые не избавились еще от панического страха перед Динозаврами, но, очевидно, вот уже несколько поколений Новых не видели моих сородичей и не знали, как они выглядят. Я продолжал путь, и мне не терпелось проверить, насколько справедливо это мое заключение. У какого-то ручья я увидел юную особу из Новых. Девушка была одна. Я медленно подошел, устроился рядышком, вытянул шею и тоже стал пить. Я уже представлял себе ее отчаянный крик

при виде меня, ее стремительное бегство. Разумеется, она поднимет тревогу, нагрянут в несметном количестве Новые и устроят облаву. На мгновение я пожалел о своем неосторожном поступке: если я хотел спасти шкуру, мне следовало, не раздумывая, прикончить незнакомку и по-прежнему...

Девушка повернулась ко мне и спросила:

— Ну как, хороша водичка?

И она завела со мной любезный разговор, состоявший из приличествующих случаю, ни к чему не обязывающих фраз, как бывает, когда беседуют с чужеземцем: поинтересовалась, издалека ли я, застал ли меня дождь в дороге, благоприветствовала ли вообще погода моему путешествию. Я никогда не думал, что можно вот так запросто болтать с не-Динозаврами, и потому все время держал ухо востро и почти ничего не говорил. Она сказала:

— Я всегда хожу пить сюда, к Динозавру.

Я вздрогнул, широко раскрыл глаза.

— Да, да, мы так его и называем — ручей Динозавра. С давних времен. Говорят, как-то здесь спрятался Динозавр — один из последних, — он набрасывался на каждого, кто приходил на водопой, и разрывал на куски. Какой ужас!

Мне хотелось исчезнуть. «Сейчас она сообразит что к чему, — думал я, — вот только получше приглядится и увидит, кто я такой!» — и, как всякий, кто не желает, чтобы его рассматривали, я потупился и попытался спрятать предательский хвост. Нервы мои были до того напряжены, что когда она, приветливо улыбаясь, распрощалась со мной и отправилась своей дорогой, я почувствовал себя смертельно усталым, будто только что выдержал одну из былых схваток, в которых оружием служили когти и зубы. Я вспомнил, что даже не соизволил в ответ сказать ей «до свиданья».

Я вышел к берегу большой реки и увидел норы Новых. Новые жили рыбной ловлей, и я застал их за работой: они строили запруды из веток, создавая искусственный затон, где

более медленное течение задерживало бы рыбу. Заметив незнакомца, они разом подняли головы, прекратили работу, посмотрели на меня и переглянулись между собой, как бы о чем-то спрашивая друг друга, — и все это молча. «Плохи мои дела, — решил я про себя, — остается только подороже продать свою шкуру», — и приготовился к прыжку.

К счастью, я вовремя остановился. Эти рыбаки ничего против меня не имели: просто, увидев такого верзилу, они решили предложить мне остаться у них и работать на доставке леса.

— Место здесь надежное, — убеждали они, по-своему истолковав мою озабоченность. — Динозавров в этих краях не видно со времени дедов наших дедов...

Никому и в голову не приходило, кто я такой. Я остался. Климат там был хороший, питание, разумеется, не по нашим вкусам, но приличное, да и работа не такая уж тяжелая, если учитывать мою силу. Они дали мне прозвище — Урод, оттого, что я был не таким, как они, а вовсе не почему-то там еще. Эти Новые, не знаю уж, как вы их называете: пантотерии или как-нибудь по-другому (тут сам черт ногу сломит!), принадлежали к виду, до конца не определившемуся, нечеткому, и действительно, из него потом выделились все остальные виды; уже в то время между отдельными особями наблюдались самые невероятные сходства и различия, так что мне, хоть я и не имел к ним никакого отношения, пришлось убедить себя, что в общем-то я не так уж бросаюсь в глаза.

Нельзя сказать, чтобы я окончательно привык к этой мысли: я постоянно чувствовал себя Динозавром, оказавшимся в стане врагов, и каждый вечер, когда они принимались рассказывать истории о Динозаврах, истории, передаваемые из поколения в поколение, я отступал в тень, и нервы у меня были напряжены до предела.

Страшные это были рассказы. Слушатели, бледные, то и дело прерывая их криками ужаса, смотрели в рот рассказчи-

ку, голос которого выдавал не меньшее волнение. Вскрсе мне стало ясно, что эти истории были уже всем известны (несмотря на то, что составляли весьма обширный репертуар), однако внимали им каждый раз с неизменным ужасом. Динозавры представляли в них скопищем чудовищ, расписанных в таких подробностях, что после этих рассказней настоящего Динозавра никак нельзя было узнать. Выходило, что мы, Динозавры, только о том и помышляли, чем бы это навредить Новым, будто главнее Новых с самого начала никого не было на Земле, а мы не ведали других забот, кроме как гоняться за ними с утра до вечера. Мне же, когда я думал о нас, Динозаврах, представлялась длинная цепь мытарств, сомнений, потерь; истории, которые рассказывали Новые, были до того далеки от пережитого мной, что казалось, я должен был относиться к ним равнодушно, как если бы речь шла о посторонних, о ком-то незнакомом. Однако, слушая их, я ловил себя на мысли, что никогда не задумывался над тем, как мы выглядели в глазах других, и понимал, что при всем вздоре, которого в этих рассказах было предостаточно, в чем-то они, пусть даже односторонне, отражали истину. В моем сознании рассказы о том, какой ужас мы нагоняли на всех, соединялись с воспоминаниями о пережитых ужасах: чем больше я узнавал, как мы заставляли дрожать других, тем сильнее дрожал сам.

Каждый рассказывал одну историю, по кругу, и вдруг мне говорят:

— Ну-ка, Урод, а что мы услышим от тебя? Неужели тебе нечего рассказать, а? Разве в твоём роду никому не случилось сталкиваться с Динозаврами?

— Конечно, но... — бормотал я, — прошло столько времени... Ах, если б вы только знали...

Кто приходил мне на помощь в подобных случаях, так это Цветок Папоротника, девушка, которую я повстречал у ручья.

— Да оставьте его в покое... Он чудеземец, еще не освоился здесь, плохо говорит по-нашему...

И от меня отставали. Я с облегчением вздыхал...

Между Цветком Папоротника и мной установились добрые отношения. Ничего интимного: я ни разу не осмелился даже прикоснуться к ней. Но мы подолгу разговаривали. Вернее, это она много рассказывала мне о своей жизни. Я же из страха выдать себя, вызвать у нее подозрения, которые разоблачили бы меня, отделивался общими фразами. Цветок Папоротника поверяла мне свои сны:

— Сегодня ночью я видела огромного страшного Динозавра, у него из ноздрей вырывалось пламя. Он подходит, хватая меня за голову и тащит, хочет съесть живьем. Это был жуткий сон, но я — даже странно — нисколько не испугалась, мне — как бы это объяснить? — было даже приятно...

После этого сна я должен был бы многое понять и прежде всего самое главное: Цветок Папоротника только о том и мечтала, чтобы на нее напали. Мне следовало обнять ее. Но Динозавр, живший в воображении Новых, был слишком не похож на настоящего, на того Динозавра, каким был я, и эта мысль делала меня еще больше непохожим на их Динозавра и увеличивала мою робость. Одним словом, я упустил подходящий случай. А потом с равнины, где кончался сезон рыбной ловли, вернулся брат девушки, она оказалась под бдительным присмотром, и наши беседы стали редкими.

Этот ее брат, Цан, с первой же минуты, как увидел меня, проникся ко мне недоверием.

— Это еще кто такой? Откуда взялся? — спросил он, указывая на меня.

— Да это же Урод, чужеземец, работающий у нас на лесозаготовках, — объяснили ему. — А что? По-твоему, в нем есть что-то странное?

— Этот вопрос я хотел бы задать ему самому, — грозно произнес Цан. — Эй, ты, что в тебе странного?

Как я должен был ответить ему?

— Во мне? Ничего...

— Ага, выходит, по-твоему, ты не странный, — и он засмеялся. В тот раз дело дальше не пошло, но ничего хорошего для себя я уже не ждал.

Цан был одним из самых отчаянных типов в поселке. Он поостранствовал по свету и щеголял тем, что знал больше других. Стоило ему услышать разговоры о нашем брате — Динозаврах, как он всем видом показывал, что они ему несносны.

— Сказки, — заявил он однажды. — Все это пустые сказки. Поглядел бы я на вас, если бы здесь появился настоящий Динозавр!

— Да ведь они уже давным-давно перевелись, — заметил один из рыбаков.

— Положим, не так уж давно... — ухмыльнулся Цан, — и неизвестно еще, не бродят ли их стада где-нибудь неподалеку... На равнине наши по очереди стоят в дозоре днем и ночью. Но там они хоть могут положиться друг на друга, потому что не подпускают к себе всяких бродяг, которых никто не знает... — и он намеренно задержал взгляд на мне.

Бессмысленно было затягивать эту историю: такому лучше сразу показать, что ты не намерен проглатывать оскорбления.

Я сделал шаг вперед.

— У тебя на меня зуб? — спросил я.

— У меня зуб на всех проходимцев без роду, без племени, которые неведомо откуда являются, а потом объедают нас и волочатся за нашими сестрами...

Кто-то из рыбаков вступился за меня:

— Так ведь Урод зарабатывает себе на жизнь, он трудится на совесть...

— Таскать бревна на горбу он, наверное, горазд, не отрицаю, — отпарировал Цан, — но в минуту опасности, когда нам придется защищаться когтями и зубами, кто поручится, что он поведет себя как должно?

Все заспорили. Странно, но никому даже в голову не приходило, что я могу быть Динозавром, обвинение против меня

по-прежнему сводилось к одному: я был не таким, как они, был чужеземцем, а потому — неблагонадежным, и спор шел с том, в какой мере мое присутствие увеличивало опасность возвращения Динозавров.

— Хотел бы я поглядеть на него в бою, на этого молодчика с пастью ящерицы... — презрительно продолжал Цан с явным намерением довести меня до белого каления.

Я решительно подошел к нему вплотную, нос к носу.

— Можешь поглядеть хоть сейчас, если не убежишь без оглядки.

Этого он не ожидал. Он посмотрел на своих. Они стали в круг. Теперь оставалось только драться.

Я бросился вперед, увернулся, выгнув шею, от его зубов, тут же нанес ему лапой удар, перевернувший его на спину, и подмял его под себя. То был ошибочный прием — мне ли этого не знать, я ли не видел, как умирали Динозавры от когтей и зубов, впившихся в грудь и в живот, когда сами они уже не сомневались, что обезвредили врага? Но я умел еще действовать хвостом, чтобы сохранить устойчивость, — мне не хотелось давать противнику возможности вот так же уложить меня, я напряг все силы, но чувствовал, что начинаю сдавать...

И тогда кто-то из зрителей крикнул:

— Давай, Динозавр, держись!

Поняв, что меня разоблачили, я в тот же миг снова стал самим собою, стал таким же, как прежде: терять мне было нечего, а на них, раз уж на то пошло, следовало нагнать былого страха. И я ударил Цана раз, другой, третий...

Нас разняли.

— Цан, мы же тебя предупреждали, что сил у Урода хватает. С Уродом шутки плохи!

И они смеялись, поздравляя меня, хлопая лапами по спине. Я был уверен, что меня разоблачили, и потому ничего не понимал: только позже я сообразил, что словом «Динозавр» они обычно подбадривали участников состязаний и означало

оно не что иное, как: «А ну-ка, покажи ему, ведь ты сильный!», и неизвестно было даже, к кому это относилось в данном случае — ко мне или к Цану.

С того дня меня уважали, как никого, все, в том числе и Цан, который приходил смотреть, как я работаю, чтобышний раз убедиться в моей силе. Должен сказать, что обычные разговоры Новых о Динозаврах со временем приобрели несколько иной оттенок, как бывает, когда надоеет вечно мерить все одной и той же меркой и мода начнет меняться. Теперь у них вошло в привычку говорить, обсуждая происшествия в поселке, что между Динозаврами того-то и того-то никогда бы не случилось, что с Динозавров во многом следует брать пример, что о поведении Динозавров в той или иной ситуации (например, в личной жизни) и говорить не приходится и тому подобное. Одним словом, казалось, наступает полоса чуть ли не посмертного возвеличивания Динозавров, о которых ничего толком не знали. Однажды я не удержался:

— Не стоит преувеличивать. Ну как, по-вашему, что такое Динозавр, если уж на то пошло?

Они в один голос зашикали:

— Молчи, что ты понимаешь, если сам их никогда не видел?!

Минута была подходящая, чтобы назвать вещи своими именами.

— А вот и видел! — воскликнул я. — И если хотите, могу вам показать, как они выглядели!

Мне не поверили, думали, что я хочу посмеяться над ними. Для меня эта их новая манера толковать о Динозаврах была столь же невыносима, как и прежняя. Потому что, уж не говоря о скорби, которую я испытывал при мысли о жестокой участи, выпавшей на нашу долю, — кто, как не я, знал жизнь Динозавров, помнил, как вредила нам ограниченность, сколько в нас было предрассудков, как все это мешало идти в ногу со временем, приспособливаться к новым обстоятельствам! И те-

перь я вынужден был смотреть, как Новые берут за образец наш узкий мирок, столь отсталый, столь — скажем прямо — скучный! И они, именно они, еще навязывали мне нечто вроде священного уважения к Динозаврам, уважения, которого я никогда не испытывал! Но, в сущности, так оно и должно быть: эти Новые, разве они так уж отличаются от Динозавров золотых времен? Уверенно чувствуя себя в своем поселке с запрудами и рыбными садками, они тоже зачванились, стали самонадеянными... Порой они становились для меня так же несносны, как некогда мои собственные сородичи, и чем больше Новые восторгались Динозаврами, тем сильнее я ненавидел и Динозавров и их.

— Знаешь, сегодня ночью мне приснилось, будто мимо нашего дома должен пройти Динозавр, — как-то сказала Цветок Папоротника, — великолепный Динозавр, принц или король Динозавров. Я прихорошилась, обвила ленту вокруг головы и подошла к окну. Я старалась привлечь внимание Динозавра, сделала ему реверанс, но он не обратил на меня внимания, даже взглядом не удостоил.

Этот сон по-новому раскрыл передо мной душу девушки, и я понял, что она думала обо мне: должно быть, приняла мою робость за презрительное высокомерие. Сейчас, воскрешая в памяти прошлое, я вижу, что мне достаточно было не разубеждать ее в этом еще какое-то время, сохраняя видимость гордой неприступности, и я бы ее окончательно завоевал. Но рассказанный сон до того растрогал меня, что я со слезами на глазах бросился к ее ногам:

— Нет, нет, о Цветок Папоротника, все не так, как тебе представляется, ты достойнее любого Динозавра, в сто раз достойнее, я чувствую, что я настолько ниже тебя...

Цветок Папоротника опешила, отступила на шаг.

— Да ты понимаешь, что говоришь?

Нет, не этого она ждала: она растерялась, сцена показалась ей неприятной. Я понял это слишком поздно, и хоть и по-

спешил сделать вид, будто ничего не случилось, но все равно между нами что-то уже нарушилось, появилось чувство взаимной неловкости.

То, что произошло вскоре, заставило нас забыть это недоумение. В поселке появились выбившиеся из сил гонцы.

— Динозавры возвращаются!

На равнине было обнаружено обезумевшее от стремительного бега стадо неведомых чудовищ. Если оно будет продвигаться с той же скоростью, завтра на рассвете поселок окажется в осаде.

Можете себе представить, какие чувства всколыхнуло в моей душе известие: вид, к которому я принадлежал, не вымер, я мог воссоединиться со своими братьями, снова зажечь былой жизнью! Но в воспоминаниях об этой жизни, проснувшихся в моем сознании, я видел бесконечную цепь поражений, отступлений, опасностей — и только; быть может, начать все заново — значило лишь продлить ненадолго эту агонию, вернуться к этапу, который, хотелось верить, пройден раз и навсегда? А ведь к этому времени я, наконец, достиг здесь, в поселке, некоего душевного равновесия, и мне жаль было терять его.

Новых тоже обуревали противоречивые чувства. В их душах панический страх сменялся желанием восторжествовать над давним врагом, и в то же время они считали, что, коль скоро Динозавры выжили и теперь наступают, мечтая о реванше, значит, никто не может их остановить, и не исключено, что победа Динозавров, как бы жестоки ни были победители, послужит ко всеобщему благу. Иначе говоря, Новые хотели и защищаться, и спастись бегством, и уничтожить врага, и оказаться побежденными; и неуверенность эта сказывалась в той неорганизованности, с какой они готовились к обороне.

— Стойте! — крикнул Цан. — Среди нас лишь один способен взять на себя командование! Самый сильный из нас, Урод!

— Правильно! Нами должен командовать Урод! — хором откликнулись остальные. — Да, да, пусть Урод принимает

командование! — И они вытянулись передо мной по стойке «смирно».

— Да нет, неужели вы хотите, чтобы я, чужеземец... Я не достоин! — возразил я. Но переубедить их было невозможно.

Что оставалось делать? В ту ночь я не сомкнул глаз. Голос крови повелевал мне дезертировать и присоединиться к братьям, тогда как чувство долга по отношению к Новым, которые приняли меня и приютили, подсказывало, что я должен оставаться на их стороне. Но в то же время я прекрасно знал, что ни Динозавры, ни Новые не заслуживали того, чтобы пальцем ради них шевельнуть! Если Динозавры стремились восстановить свое господство путем нашествий и кровопролитий, значит опыт ничему их не научил, значит они выжили лишь по ошибке. А Новые — это было очевидно, — возложив на меня командование, нашли наиболее удобный выход из положения: всю ответственность взвалили на чужеземца, и этот чужеземец мог стать или их спасителем, или в случае поражения — козлом отпущения, которого не жалко выдать неприятелю, чтобы задобрить его; наконец, он мог стать изменником, который, предав Новых врагу, осуществил бы их тайную мечту оказаться под властью Динозавров. Одним словом, я не желал знать ни тех, ни других, мне было на них на всех наплевать — пусть себе перебьют друг друга до последнего. Я должен был, пока не поздно, бежать, оставить их вариться в собственном соку, не вмешиваться в эти старые дрязги.

В ту же ночь, крадучись в темноте, я выбрался из поселка. Первым моим побуждением было убраться подальше от поля боя, вернуться в мои тайные убежища; но любопытство оказалось сильнее: мне хотелось увидеть себе подобных, знать, кто окажется победителем. Я укрылся на вершине скалистых гор, высящихся над излучиной реки, и стал ждать рассвета.

Когда занялось утро, на горизонте показались какие-то фигуры. Они стремительно приближались. Еще раньше, чем мне удалось их как следует разглядеть, я мог поручиться, что пе-

редо мной не Динозавры: чтобы хоть один Динозавр бежал так неуклюже, это для меня исключалось. Когда же я узнал Носорогов, я не ведал — смеяться мне или плакать. Да, то было стадо первых Носорогов, крупных, нескладных, покрытых роговыми наростами, но совершенно безобидных — им бы только пощипать травки. Так вот кого Новые приняли за древних царей Земли!

Стадо Носорогов пронеслось с шумом, подобным грому, остановилось подкрепиться кустарником и вновь устремилось к горизонту, даже не заметив укреплений рыбаков.

Я бегом вернулся в поселок.

— Вы ничего не поняли? Это не Динозавры! — возвестил я. — Носороги, вот это кто! Они уже ушли! Опасность миновала! — И добавил, желая оправдать свое дезертирство: — Я ходил в разведку! Чтобы все выяснить и сообщить вам!

— Мы могли, конечно, не понять, что это были не Динозавры, — спокойно заметил Цан, — зато мы поняли, что ты не герой, — и он показал мне спину.

Разумеется, они разочаровались и в Динозаврах и во мне. Теперь их рассказы о Динозаврах уступили место анекдотам, где страшные чудовища выглядели комическими персонажами. Но меня больше не трогало это убожество Новых, я оценил, наконец, величие духа, заставившее нас предпочесть исчезнуть с лица земли, чем жить в мире, который нам больше не принадлежал. Если я еще жил, то лишь потому, что Динозавр продолжал чувствовать себя Динозавром среди этого народишка, прикрывавшего банальными шуточками царивший в нем страх. Впрочем, что еще оставалось им делать?

И у Цветка Папоротника отношение к Динозаврам изменилось; об этом ясно свидетельствовал ее очередной сон.

— Там был Динозавр, неуклюжий, зеленый-презеленый, и все издевались над ним, дергали его за хвост. Тогда я вышла вперед и заступилась за него, увела, приласкала. И я поняла: при всем том, что он был такой смешной, это было самое гру-

стное создание на свете, и из его красновато-желтых глаз ручьями лились слезы...

Что испытал я при этих словах? Было ли мне унижительно отождествлять себя с героем сна? Отвергал ли я чувство, которое, казалось, с некоторых пор основывалось на жалости? Возмущало ли меня то пренебрежение, с каким все они стали относиться к Динозаврам?

Я почувствовал прилив гордости. С видом превосходства я презрительно бросил ей в лицо:

— Вечно ты пристаешь ко мне со своими детскими снами! Тебе и присниться-то ничего путного не может, одни глупости!

Цветок Папоротника расплакалась. Я повернулся и ушел, пожав плечами. Это случилось на плотине, мы были не одни: рыбаки, правда, не слышали разговора, но заметили, что я был вне себя, заметили ее слезы. Цан счел своим долгом вмешаться.

— Ты кем это себя возомнил, — спросил он резко, — что позволяешь себе невежливо обращаться с моей сестрой?

Я остановился, но отвечать не стал. Если он собирается драться — пожалуйста, я готов. Но в последнее время в поселке появилась новая мода — они все обращали в шутку. Из толпы рыбаков кто-то крикнул фальцетом:

— Валяй, валяй, Динозавр!

Я знал, что это шутивное выражение, недавно вошедшее в обиход и означавшее: «Не петушись, не ерпенься», или что-нибудь в том же духе. Но меня оно только распалило.

— А я и есть Динозавр, если хотите знать! — вскричал я. — Да, да, именно! Если вы никогда в жизни не видели Динозавров, то вот один из них перед вами, полюбуйтесь!

Раздался дружный хохот.

— Я вчера видел одного, — сказал кто-то из стариков, — он вылез из-под снега.

Все тут же замолчали. Этот старик недавно вернулся с гор. Оттепель растопила старый ледник, скрывавший скелет Динозавра.

Весть разнеслась по поселку.

— Пошли посмотреть Динозавра!

Все устремились на гору, и я тоже.

Миновав морену, покрытую поваленными стволами, скелетами птиц, я увидел широкую котловину. Первый лишайник покрыл прозеленью валуны, освобожденные ото льда. Посреди котловины, вытянувшись будто во сне, покоился скелет гигантского Динозавра: просветы между позвонками удлинняли его шею, огромный хвост извивался змеей. Грудная клетка вздымалась дугой, как парус, и, когда ветер ударял в гладкие полукружия ребер, казалось, что под ними все еще бьется невидимое сердце. Череп был повернут назад, пасть разинута, словно в последнем крике.

По дороге Новые радостно горланили, но вот они увидели череп, сверливший их взглядом пустых глазниц, и, умолкнув, остановились поодаль; потом отвернулись, охваченные новым приступом неуместного веселья. Достаточно было кому-нибудь из них перевести взгляд со скелета на меня, неподвижно стоявшего рядом, и ему стало бы ясно — это скелет моего двойника. Но никто этого не сделал. История этих костей, этих зубов, этих смертоносных клыков звучала на языке, уже не поддававшемся расшифровке, и никому больше не напоминала ничего, кроме красивого имени, не связанного с реальностью сегодняшнего дня.

Я продолжал рассматривать скелет — скелет Отца, Брата, Себе Подобного, Самого Себя, я видел как бы свои собственные обнаженные кости, узнавал свои очертания, отпечатавшиеся на камне, все то, чем мы были когда-то и чем перестали быть, наше величие, наши грехи, нашу гибель.

Теперь этим останкам суждено было сделаться составной частью пейзажа для тех, кто возомнил себя новыми завоевателями планеты, разделить участь имени «Динозавр», превратившегося в пустой, бессмысленный звук. Все, что имело отношение к истинной природе Динозавров, должно было остаться в

тайне. Ночью, пока Новые спали вокруг украшенного флагами скелета, я перенес и похоронил — косточка за косточкой — моего покойного сородича.

Наутро Новые не обнаружили скелета. Они недолго ломали себе голову над причинами его бесследного исчезновения. К тайнам Динозавров прибавилась еще одна. Вскоре все забыли, как он выглядел.

Но зрелище скелета оставило след в сознании Новых, отныне представление о Динозаврах они связывали с представлением о горьком, бесславном конце, и теперь в их рассказах преобладал оттенок сострадания, боли за нас, мучеников. Я не знал, куда деваться от этой жалости. Кого они жалели? Если когда-нибудь хоть один вид достиг полного развития, если хоть один вид долго и счастливо властвовал на Земле, то это были мы. Наша смерть явилась величественным эпилогом, достойным славного прошлого. Что они понимали, эти глупцы? Меня так и подмывало зло посмеяться над ними, рассказывать им небывицы всякий раз, как я слышал их сюсюканье о бедных Динозаврах. Все равно теперь уже никто не понял бы правды о Динозаврах, она была тайной, которую мне суждено хранить лишь для самого себя.

Как-то в поселке остановилась ватага бродяг. Среди них была юная особа. Увидев ее, я вздрогнул. Если зрение меня не обманывало, в ней текла не только кровь Новых: это была Мулатка, и без Динозавра тут не обошлось. Знала ли она об этом? Нет, конечно, судя по тому, как непринужденно она держалась. Быть может, не один из ее родителей, а кто-то из дедов, прадедов или даже прапрадедов был Динозавром, и от него она унаследовала свойственные нашей породе манеры, движения, давно ни о чем не напоминавшие никому, в том числе и ей самой. Это было прелестное веселое создание, у нее тотчас появились поклонники, и самым ретивым и влюбленным из них был Цан.

Начиналось лето. Молодежь устраивала праздник у реки.

— Пойдем с нами, — пригласил меня Цан, который после стольких ссор старался показать, что по-прежнему остается моим другом, и тут же снова пристроился рядом с Мулаткой.

Я приблизился к Цветку Папоротника. Кажется, пришло время выяснить отношения, помириться.

— Что тебе снилось сегодня ночью? — спросил я, чтобы завязать разговор.

Она не подняла головы.

— Я видела раненого Динозавра, который корчился в агонии. Он уронил благородную усталую голову, он так страдал... Я смотрела на беднягу, не могла оторвать от него глаз и вдруг почувствовала, что мне приятно видеть его страдания...

Губы Цветка Папоротника были растянуты в недоброй улыбке, которой прежде я у нее не замечал. Мне хотелось показать ей, что к этой мрачной игре двойственных чувств лично я не имею никакого отношения, только и всего: я был существом, наслаждающимся жизнью, наследником счастливого племени. Я стал приплясывать вокруг нее, обдал ее брызгами, ударив хвостом по воде.

— Ты только и умеешь, что ныть, — бросил я. — Хватит, давай лучше потанцуем.

Она меня не поняла и промолчала, недовольно скривившись.

— Ну что ж, раз ты со мной не танцуешь, приглашу другую! — воскликнул я и, взяв за лапу Мулатку, увел ее из-под носа у Цана, который сначала не сообразил, что произошло, провожая Мулатку влюбленными глазами, а когда рассвирепел от ревности, было уже слишком поздно: мы плыли к противоположному берегу, чтобы укрыться там в кустарнике.

Может быть, мне хотелось только показать Цветку Папоротника, что она все-таки имеет дело с мужчиной, опровергнуть ее представление обо мне, как всегда неверное. А возможно, на этот шаг меня толкнула старая обида на Цана, который снова навязывался мне в друзья. Или же виной всему послужила внешность Мулатки: ее формы, чем-то родные и в то же время

необычайные, возбуждали во мне желание, вселяли в меня уверенность, что с ней все будет просто, без недомолвок и тягостных воспоминаний...

Наутро бродяги собирались в путь. Мулатка согласилась провести ночь в зарослях. Я ласкал ее до рассвета.

Это были лишь эпизоды в целом спокойной и бедной событиями жизни. Я похоронил в молчании правду о себе и об эпохе нашего господства. О Динозаврах уже почти никто не говорил; возможно, никто больше не верил, что они вообще когда-либо существовали. Даже Цветку Папоротника они перестали сниться.

Но однажды она вдруг говорит мне:

— Я видела сон, будто в пещере живет последний представитель рода, название которого всеми забыто, и я пошла туда, чтобы спросить его имя. Там было темно, я знала, кто он, но не видела его, я прекрасно знала, кто он и как выглядит, но не могла бы описать его, и я не понимала, я ли отвечала на его вопросы или он на мои...

Для меня это было признаком того, что мы, наконец, начинаем понимать друг друга, что она тоже ищет близости со мной, о чем я мечтал с тех самых пор, когда впервые подошел к ручью, когда не знал еще, суждено ли мне остаться в живых.

С того дня я многое понял, и прежде всего — как побеждают Динозавры. Раньше я считал, что исчезновение было для моих сородичей благородным признанием поражения; теперь же я знал: чем больше вымирает Динозавров, тем шире простирается их господство, причем в чащах куда более бесконечных, нежели те, что покрывают материки: в дебрях мыслей у тех, кто выжил. Из сумрака страхов и колебаний теперь уже безвестных поколений они продолжали вытягивать шеи, вздымать когтистые лапы, и, когда последняя тень их образа стерлась, имя их по-прежнему продолжало перерастать все значения, увековечивая присутствие Динозавров в отношениях меж-

ду живыми существами. Теперь, когда стерлось даже имя, им суждено было затеряться среди безмолвных и безымянных штампов мысли, в которых представления обретают форму и содержание, — представления Новых и тех, кто должен был прийти им на смену, и тех, кому суждено явиться еще позже.

Я посмотрел вокруг. Поселок, где некогда я появился чужеземцем, я мог теперь с полным правом называть своим и своей мог назвать девушку по имени Цветок Папоротника — настолько, насколько это может сделать Динозавр. Вот почему, молча кивнув девушке на прощание, я расстался с ней, покинул поселок, ушел навсегда.

По дороге я глядел на деревья, реки и горы и не мог больше отличить те из них, что были еще во времена Динозавров, от тех, которые появились позже.

Вокруг нор расположились бродяги. Я издали узнал Мулатку, по-прежнему привлекательную, чуть-чуть располневшую. Избегая встречи, я укрылся в лесу и оттуда смотрел на нее. За ней следовал сынишка, который едва перебирал ногами, виляя хвостом. Сколько времени я не видел маленького Динозавра, Динозавра до мозга костей, столь совершенного и настолько не ведающего, что означает имя Динозавр?

Я подождал его на лесной поляне, мне хотелось поглядеть как он играет, гоняется за бабочками, ударяет кедровой шишкой о камень, выбивая из нее орехи. Я подошел к нему. Да, это был мой сын.

Он посмотрел на меня с любопытством.

— Ты кто? — спросил он.

— Никто, — ответил я. — А ты знаешь, кто ты?

— Вот сказал! Да это все знают: я Новый! — заявил он.

Именно это я и ожидал услышать. Я погладил его по голове, сказал ему: «Молодец!» — и ушел.

Я пересек горы и равнины. Вышел к станции, сел в поезд, затерялся в толпе.



ОТДАЛЕНИЕ ЛУНЫ

В незапамятные времена согласно теории сэра Джорджа Г. Дарвина Луна находилась совсем близко от Земли. Но постепенно приливы отталкивали ее все дальше — те самые приливы, которые Луна вызывает в земных морях и океанах, в результате чего Земля медленно теряет свою энергию.

— Я это отлично знаю! — воскликнул старый QiwíQ. — Вы не можете этого помнить, зато я не забыл. Луна, безмерно огромная, все время нависала над нами. По ночам в полнолуние было светло как днем — правда, сам свет был какой-то масляно-желтый, и казалось, будто Луна вот-вот нас раздавит. А в новолуние она неслась по небу, словно черный зонтик, гонимый ветром. Ну, а в фазе роста Луна прямо-таки надвигалась на Землю, наклонив свои рога, — еще немного, и она вонзит их в скалистый мыс и застрянет в нем. Но тогда фазы Луны чередовались в другом порядке, чем теперь; и из-за того, что расстояние до Солнца, орбита и склонение — все было другое, и еще по каким-то причинам — я их уже позабыл. А затмения повторялись чуть не каждую минуту — так близко были друг от друга Земля и Луна, и, понятное дело, то одна, то другая оставляла соседку в тени.

Вы спрашиваете, какой была тогда орбита? Эллипсоидной, конечно же, эллипсоидной: на одном участке более сплюснутой, на другом — круто выгнутой. Когда Луна опускалась совсем низко, вода прилиwała с неудержимой силой. Нередко ночью полная Луна до того низко висела над землей, а прилив был таким мощным, что вода едва не касалась лунной поверхности, вернее — не доходила до нее на каких-нибудь несколько метров.

Пробовали ли мы взобраться на Луну? Ну как же! Достаточно было подплыть к ней на лодке, приставить стремянку и влезть.

То место, где Луна подходила ближе всего к Земле, было в районе Цинковых утесов. Плавали мы тогда на весельных плоскодонных баркасах из пробкового дерева. В лодку обычно садилась целая компания: я, капитан Vhd Vhd, его жена, мой кузен по прозвищу Глухой, а иногда и XlthX, которой не исполнилось еще и двенадцати лет. В эти лунные ночи воды моря были спокойными и серебристыми, как ртуть, а рыбы — фиолетовыми; их неудержимо влекла Луна, и они все всплывали на поверхность вместе с шафранно-желтыми медузами и полипами.

То и дело крохотные крабы, кальмары, тоненькие прозрачные водоросли и гроздь кораллов отделялись от воды и, взлетев вверх, повисали на известковом лунном потолке либо светящимся роем носились в воздухе, а мы отгоняли их банановыми листьями.

Наши обязанности распределялись следующим образом: один греб к Луне, другой держал лестницу, а третий влезал по ней. Понятно, мы нуждались в многочисленных помощниках, и я назвал вам лишь основных членов экипажа.

Стоявший на самом верху лестницы, когда лодка подплывала совсем близко к Луне, испуганно кричал: «Стоп! Стоп! Я в нее головой врежусь!» И правда, огромная Луна внезапно надвигалась на нас, оцетинившись острыми вершинами и пилообразными хребтами, — было такое впечатление, что вот-вот врежешься в нее. Возможно, теперь все изменилось, но тогда Луна, вернее — дно, брюхо Луны, словом, та часть лунной поверхности, которая проплывала над Землей, почти касаясь ее, была покрыта коркой с остроконечными, похожими на рыбью чешую выступами. Снизу казалось, что это брюхо большой рыбыны, и запах, насколько помню, исходил от нее рыбный, точнее — более тонкий, вроде запаха лососины.

С последней ступеньки лестницы, выпрямившись во весь рост и протянув руку, можно было дотронуться до Луны. Мы очень хорошо измерили все расстояния, но, увы, не подозревали, что

Луна постепенно удаляется. Труднее всего было найти, за что уцепиться. Я выбирал выступ, казавшийся мне наиболее прочным (нам всем по очереди приходилось взбираться на Луну отрядами в пять-шесть человек), и хватался за него сначала одной рукой, потом другой; в тот же миг лодка и лестница уплывали у меня из-под ног и сила лунного притяжения отрывала меня от Земли. Да, да, Луна обладала своей силой притяжения, и вы это чувствовали в момент прыжка: надо было стремительно подтянуться, уцепившись за выступ, затем перекувырнуться и вскочить на ноги уже на Луне. С Земли казалось, будто вы повисли вниз головой, но для вас это было нормальное положение; немного странным было только одно: подняв глаза, видеть вместо неба серебристую водную гладь, а на ней опрокинутую лодку с полным экипажем, которая покачивалась, словно тяжелая гроздь, свисающая с перекладины виноградной беседки.

Особый талант к таким прыжкам был у моего кузена Глухого. Едва его ручищи касались лунной поверхности — а он всегда первым прыгал с лестницы, — они внезапно становились на редкость мягкими и ловкими. Пальцы тут же находили нужный выступ, чтобы можно было подтянуться; более того, стоило моему кузену прижать ладони к Луне — и они сразу же словно прилипали к ней. Однажды мне показалось, что не успел он вытянуть руки, как Луна сама радостно метнулась к нему навстречу.

Не менее ловко умел он спускаться на Землю, что было еще сложнее. Для всех нас это был прыжок вверх: приходилось подсакивать как можно выше со вскинутыми руками (впрочем, так казалось на Луне, а с Земли это выглядело совсем иначе — словно ты ныряешь или прыгаешь в воду ласточкой); словом, нужно было прыгать так же, как с Земли на Луну, только без лестницы — ведь на Луне ее не к чему прислонить. А вот Глухой, вместо того чтобы подсакивать, воздев руки, пригибался как можно ниже, становился на руки и не-

сколько раз с силой отталкивался от лунной поверхности ладонями. Нам с лодки казалось, будто он парит в воздухе с огромным лунным шаром в руках и ударяет по нему ладонями, заставляя его подпрыгивать. Так продолжалось до тех пор, пока нам не удавалось схватить ловкого прыгуна за пятки и втащить в лодку.

Вас, конечно, удивляет, за каким чертом мы лазили на Луну. Сейчас я вам объясню. Мы собирали там в чан молоко большущей ложкой. Лунное молоко было очень густое, похожее скорее на творог. Оно образовывалось меж чешуйками на лунной поверхности в результате брожения различных веществ и продуктов, попавших с Земли на Луну, когда та проплывала над лугами, лесами и лагунами. В основном это молоко состояло из растительных соков, лягушачьей икры, битума, чечевицы, пчелиного меда, крупинок крахмала, икринок осетра, плесени, цветочной пыльцы, желатина, червей, смолы, перца, минеральных солей, нефти и угля и т. п. Достаточно было залезть ложкой под любую из чешуек, покрывавших Луну сплошной коркой, и вы легко выгребали драгоценную жижу. Правда, это еще не было чистое лунное молоко, в нем содержалось много примесей: не все продукты успевали перебродить (особенно после того, как Луна проходила через потоки сухого горячего воздуха, поднимавшегося над пустынями) и кое-что оставалось нетронутым: когти и хрящи, гвозди, морские коньки, косточки и черенки плодов, осколки посуды, рыболовные крючки, а иной раз и гребенка. Поэтому, собрав молочное суфле в чан, приходилось его очищать и процеживать. Но не в этом была трудность: труднее всего было переправить молоко на Землю. Делалось это так: схватив ложку обеими руками, мы с размаху подбрасывали ее содержимое вверх. Если бросок был достаточно сильным, молочная жижа расплющивалась о «потолок», то есть растекалась по поверхности моря, и выловить ее с лодки было довольно легко. Мой кузен Глухой и тут отличался особенной ловкостью, у него был меткий глаз

и верная рука, он умудрялся, точно прицелившись, забрасывать жижу прямо в чан, который команда поднимала над лодкой. А вот я иной раз мазал: броску не удавалось преодолеть лунное тяготение, и молочные брызги попадали мне в глаза.

Но я еще не все вам рассказал об удивительной сноровке моего кузена. Для него выгрести лунное молоко из-под чешуи было не работой, а игрой, забавой: порой он засовывал под чешую не ложку, а руку или даже палец. Действовал он не методично и по порядку, а прыгал с места на место, словно заигрывая с Луной, щекоча ее там, где она меньше всего ожидала. И стоило ему прикоснуться к чешуе, как из-под нее, словно из сосцов козы, густо брызгало молоко. Нам оставалось двигаться за ним следом и собирать ложками жижицу, которую он выдавливал то здесь, то там, причем всегда это происходило как будто совершенно случайно — ведь никогда маршруты моего кузена нельзя было объяснить каким-нибудь планом или замыслом. К примеру, он нередко прикасался к Луне только ради того, чтобы потрогать ее — там, где чешуйки неплотно прилегали друг к другу, обнажая нежную плоть светила. Иногда мой кузен надавливал на них не пальцами руки, а, точно рассчитав свой прыжок, большим пальцем ноги (он всегда забирался на Луну босиком), и, если судить по гортанным радостным возгласам и по новым немислимым прыжкам, это доставляло ему величайшее удовольствие.

Поверхность Луны не была сплошь чешуйчатой: там и сям встречались целые зоны, покрытые голой и скользкой глиной. У моего кузена эти мягкие участки вызвали желание кувыркаться, прыгать, словно птица; он как будто хотел оставить отпечаток на глинистом теле Луны: так он забирался все дальше и дальше, и в конце концов мы неизменно теряли его из виду.

На Луне были обширные области, которые не представляли для нас никакого интереса, и мы не собирались их исследовать: там-то и исчезал мой кузен. Постепенно я пришел к убеж-

дению, что все эти сальто-мортале и озорные шутки, которые он совершал на наших глазах, были лишь прелюдией, подготовкой к какому-то тайному ритуалу, происходящему в недоступных для нас местах.

Помню, когда мы ночью плыли мимо Цинковых утесов, нами овладевало странное веселье, смешанное с непонятным волнением: нам казалось, что Луна притягивает наш мозг, как она притягивала рыб из глубин Океана. Мы плыли медленно под звуки музыки и песен. Жена капитана играла на арфе: у нее были длинные и серебристые, как чешуя угря, руки и таинственные, темные, словно морские ежи, ямочки под мышками; звуки арфы были такими нежными и вместе с тем пронзительными, что слух не выдерживал их, и нам приходилось что-нибудь громко кричать, совсем не в такт музыке, чтобы только заглушить их.

Из глубины всплывали сверкающие медузы и, поколебавшись некоторое время на поверхности, устремлялись к Луне. Маленькая XlthlX развлекалась тем, что ловила их на лету, но это было далеко не легким делом. Однажды, протянув свои ручки, чтобы схватить колыхавшуюся в воздухе медузу, она подпрыгнула и тоже повисла в пустоте. Она была слишком худой, и ей не хватало нескольких унций веса, чтобы земное тяготение преодолело притяжение Луны и опустило ее на Землю; и вот она полетела над морем вместе с медузами. Сперва XlthlX очень испугалась, заплакала, потом успокоилась, засмеялась и стала, играя, ловить летевших мимо рыбок и рачков; некоторых из них она подносила ко рту и надкусывала. Мы гребли изо всех сил, стараясь не отстать от нее. Луна неслась по своей эллипсоидной орбите, увлекая за собой XlthlX, окруженную стаей рыбок и рачков и целой тучей переплетенных морских водорослей. У девочки были две тоненькие косички, и казалось, будто они летят отдельно, сами по себе, устремившись прямо к Луне. XlthlX дрыгала ногами, брыкалась, словно пыталась вырваться из цепких объятий Луны, и ее чулки (сандалии

она потеряла во время полета) сползли вниз и теперь болтались, притянутые Землей. Мы, стоя на лестнице, тщетно пытались ухватиться за них.

Надо сказать, что пришедшая девочке идея поймать и съесть пролетающих мимо рыбок была весьма удачной. Чем тяжелее становилась *XlthlX*, тем ниже она опускалась. А так как среди всех живых существ и растений, повисших в воздухе, девочка обладала наибольшей массой, разные моллюски, водоросли, планктон стали притягиваться к ней; вскоре она была с ног до головы облеплена тоненькой паутиной морских трав, хитиновыми панцирями ракообразных, крохотными известковыми ракушками, и чем плотнее обвивался вокруг нее этот клубок, тем больше она освобождалась от лунного тяготения, пока не коснулась поверхности моря и не погрузилась в него.

Мы стали дружно грести, чтобы вытащить ее из воды и помочь ей. Растения и водоросли так плотно пристали к телу девочки, что нам с большим трудом удалось разделиться с ними. Голову *XlthlX* облепили нежные кораллы, а стоило нам провести гребнем по ее волосам, как на дно лодки падали бесчисленные рыбешки и крохотные крабы; глаза бедняжки были закрыты раковинами мидий, створки которых прилипли к векам, а шею и руки обвивали щупальца каракатицы; платье, казалось, было все соткано из водорослей и морских губок. Мы очистили девочку от самых крупных водорослей и моллюсков, но потом она еще долго отдирала от тела плавнички и ракушки, а вонзившиеся в кожу крохотные игольчатые диатомеи навсегда оставили свой след; тому, кто не слишком внимательно приглядывался к девочке, ее лицо казалось усыпанным маленькими черными родинками.

Так лунное и земное тяготения на равных спорили между собой о пространстве между двумя планетами. Больше того, тело, которое опускалось на Землю с Луны, на какое-то время оставалось под воздействием лунного притяжения и не сразу

начинало повиноваться закону земного тяготения. Даже я, хоть и был высоким и грузным, спускаясь с Луны, каждый раз не мог сразу привыкнуть к нашим понятиям верха и низа, и друзьям в лодке приходилось гроздьями повисать у меня на руках и крепко удерживать, потому что я все время норовил встать вниз головой и задрать ноги к Луне.

— Держись крепче! Крепче держись за нас! — кричали они, и в суматохе порой случалось, что я нечаянно хватался за упругую полную грудь синьоры Vhd Vhd. Прикосновение к ней действовало на меня благотворно, ее мягкие округлости притягивали меня сильнее, чем Луна, и я старался, падая вниз головой, другой рукой обнять капитаншу за талию. Так я возвращался в этот мир, падал на дно лодки, и капитан Vhd Vhd, чтобы привести меня в чувство, выливал мне на голову ведро воды.

С этого началась история моей любви к жене капитана и моих страданий. Да, и страданий, потому что вскоре мне стало ясно, к кому прикованы взгляды синьоры Vhd Vhd. Когда ловкие руки Глухого смело касались лунной коры, я впивался взглядом в капитаншу и читал в ее глазах мысли, которые вызывал в ней столь интимный контакт между Глухим и Луной, а когда мой кузен пускался в свои таинственные экспедиции по лунным пустыням, синьора Vhd Vhd начинала нервничать, волноваться, и мне все становилось понятно, — так же как я ревновал ее к Глухому, она сама ревновала моего кузена к Луне. Глаза капитанши блестели, как два бриллианта, и во взоре ее, обращенном к Луне, сверкал вызов: она словно кричала светилу: «Нет, нет, тебе его не получить!» И я чувствовал себя третьим лишним.

А вот мой кузен не обращал на это ни малейшего внимания. Когда мы, помогая ему спуститься, тянули его за ноги (я вам уже рассказывал об этом), синьора Vhd Vhd, забывая о всякой благопристойности, вся повисала на нем и обвивала моего кузена своими длинными серебристыми руками. Я чувств-

вовал, как в сердце мне вонзаются колючки: ведь когда я хватался за госпожу Vhd Vhd, ее тело было податливым, покорным, но только не напряженно-зовущим, как при спуске моего кузена; а Глухой оставался совершенно безразличным, весь во власти лунного экстаза.

Я смотрел на капитана, стараясь понять, замечает ли он двусмысленное поведение жены, но на его изборожденном глубокими морщинами, красном от морской соли лице ничего не отражалось.

Глухой всегда спускался с Луны последним, и его возвращение было сигналом к отплытию лодок. Капитан Vhd Vhd необычайно галантно поднимал арфу со дна лодки и протягивал ее жене. Волей-неволей ей приходилось брать инструмент и играть, хотя ничто так не отдаляло ее от Глухого, как звуки арфы. Я печально запевал:

Все серебряные рыбы по морю плывут,
По морю плывут,
А все темные рыбы в глубину уйдут,
В глубину уйдут...

И весь экипаж, кроме кузена, дружно мне подтягивал.

Каждый месяц, когда ночное светило было на ущербе, мой кузен погружался как бы в спячку, и все на свете становилось ему безразлично. Пробуждало его лишь приближение полнолуния.

В тот раз я схитрил и не попал в число тех, кто должен был карабкаться на Луну, потому что хотел остаться в лодке с женой капитана. Но едва мой кузен влез на лестницу, синьора Vhd Vhd вдруг объявила:

— Я тоже хочу побывать разок на Луне!

Еще не было случая, чтобы жена капитана взбиралась на Луну. Но Vhd Vhd и не подумал возражать — более того, он сам подтолкнул ее к лестнице, крикнув: «Лезь, лезь!» Мы все бросились помогать ей; я поддержал ее сзади, чувствуя ее

упругое тело и крепко прижимаясь к ней лицом и руками. Когда я почувствовал, что она дотянулась до Луны, и перестал касаться ее, мне стало так мучительно горько на душе, что я не удержался и бросился следом со словами: «Пойду и я, надо им помочь!»

Капитан Vhd Vhd сжал меня своими ручищами, словно клещами.

— Ты останешься с нами, тебе и тут дела хватит, — приказал он, не повышая голоса.

Уже тогда были ясны намерения каждого из нас. И все-таки я кое-чего не понимал, да и сейчас не уверен, что окончательно во всем разобрался. Конечно, жена капитана втайне давно уже мечтала уединиться на Луне с Глухим или надеялась хотя бы помешать ему остаться наедине с Луной; а может, планы синьоры Vhd Vhd шли куда дальше: спрятаться на Луне и пробыть там вдвоем с Глухим весь следующий месяц — впрочем, об этом они наверняка должны были сговориться заранее. Однако вполне вероятно, что мой кузен, глухой на оба уха, ничего не понял из ее объяснений и просто не догадывался, что он и есть предмет страсти синьоры Vhd Vhd. Ну, а капитан?

Он только и ждал удобного случая, чтобы на время избавиться от жены: это видно по тому, что, едва она оказалась в дсбровольном заточении на Луне, он дал волю своим пагубным наклонностям и предался пороку. Только тогда нам стало ясно, почему он даже не пытался удержать жену. Да, но знали ли он с самого начала, что орбита Луны медленно, но верно удаляется?

Никто из нас об этом даже не подозревал, кроме разве что Глухого. Каким-то особым чутьем он воспринимал малейшие изменения в природе и словно догадывался, что этой ночью ему придется навсегда распрощаться с Луной. Он спрятался в одно из своих тайных укрытий и появился лишь, когда надо было возвращаться обратно. А жена капитана буквально

сбилась с ног, разыскивая его: нам с лодки было видно, как она мечется вдоль и поперек по чешуйчатой лунной долине, как внезапно она остановилась и недоуменно поглядела на нас, словно хотела спросить, куда же подевался Глухой.

Вообще эта ночь была какой-то необычной. Морская гладь, которая в полнолуние всегда словно напрягалась, устремляясь к небу, теперь оставалась спокойной, вялой, совершенно нечувствительной к лунному притяжению. И свет тоже был не такой, как всегда при полной Луне: он точно померк, затуманенный сгустившейся тьмой ночи. Наши друзья там, наверху, очевидно, тоже почувствовали, что происходит нечто странное, и с испугом глядели на нас, задрвав головы. Внезапно из их и из наших уст одновременно вырвался крик:

— Луна удаляется!

Не успели мы крикнуть, как на Луне появился мой кузен. На лице ни удивления, ни испуга. Как обычно, он стал на руки, сделал свой любимый кульбит, но... взвившись в воздух, он беспомощно повис в пустоте, как повисла когда-то маленькая XlthIX. На какое-то мгновение его закружило, затем он перевернулся и, усиленно работая руками, словно пловец, борющийся со стремительным течением, медленно-медленно подплыл к Земле.

Тем временем на Луне остальные члены нашего экипажа поторопились последовать его примеру. Никому даже в голову не пришло переправить в баркасы лунное молоко, а капитан и не подумал их за это отругать. Они и так замешкались, Луна постепенно отдалялась, и теперь добраться до Земли было крайне трудно. Хотя моряки пытались подражать движениям моего кузена, они без толку размахивали руками, повиснув в небе.

— Сомкнитесь! Сомкнитесь же, болваны! — завопил капитан.

Повинуясь его приказанию, моряки постарались сгрудиться вместе, чтобы одновременно оттолкнуться и благодаря большой

массе пробиться в зону земного притяжения. Наконец в море с глухим плеском одно за другим стали падать тела людей.

Мы начали отчаянно грести, чтобы поскорее вытащить их из воды.

— Подождите! Там осталась синьора! — крикнул я.

Жена капитана тоже попыталась прыгнуть, но повисла в нескольких метрах от Луны и теперь беспомощно взмахивала своими тонкими серебристыми руками. Я вскарабкался по лестнице и протянул ей арфу, чтобы она могла хоть за что-нибудь ухватиться.

— Не достанет она! Ей нужно помочь! — И я, потрясая арфой, приготовился к прыжку.

Огромный лунный диск прямо надо мной был не похож на себя, до того он уменьшился, и сейчас он продолжал сжиматься у меня на глазах, словно мой взгляд отталкивал его все дальше и дальше. Небо, ничем больше не заслоненное, раскрылось, словно глубочайшая пропасть, на дне которой загорались все новые и новые звезды, и ночь охватила меня своей пустотой, пугая и доводя до головокружения.

«Как страшно! — думал я. — Я боюсь совершить прыжок, я трус!»

И в тот же миг я прыгнул. Я поплыл по небу, отчаянно загребая руками и протягивая спасительную арфу синьоре Vhd Vhd, которая, вместо того чтобы устремиться мне навстречу, медленно кружилась на месте, поворачиваясь ко мне то безучастным лицом, то задом.

— Сольемся же! — воскликнул я, подплывая к ней, обвивая руками ее талию и тесно прижимаясь к ней всем телом. — Сольемся же и вместе рухнем вниз!

Я изо всех сил старался теснее прильнуть к ней и до конца насладиться объятиями. Поэтому, увы, я слишком поздно заметил, что, хотя и сумел вывести ее из состояния невесомости, падали мы все-таки не на Землю, а на Луну. Но действительно ли я этого не понял? Или таковы были с самого начала мои

тайные помыслы? Не успел я додумать до конца свою мысль, как у меня из горла вырвался крик:

— Я, я останусь с тобой на целый месяц! В твоих объятиях! Целый месяц в твоих объятиях!..

В ту же секунду падение на поверхность Луны прервало наше объятие, и мы покатались в разные стороны по холодной чешуе. Я вскинул глаза, как делал всегда, когда касался лунной поверхности, уверенный, что увижу над собой родное море, раскинувшееся, словно бесконечный потолок: и я действительно увидел его, но насколько оно было сейчас дальше и меньше, стесненное берегами, утесами и мысами, какими маленькими казались мне лодки, какими неузнаваемыми лица друзей и как приглушенно доносились их крики! И тут невдалеке от меня раздался нежный звук: это синьора Vhd Vhd, отыскав свою арфу, тихонько перебирала струны, извлекая жалобные, тоскливые арпеджио.

Так начался наш долгий лунный месяц. Луна медленно вращалась вокруг Земли. С повисшего в пустоте ночного светила мы уже не видели привычного родного берега моря; под нами проплывали бездонные океаны, белесые кремнистые пустыни, оледенелые континенты, леса, в которых кишмя кишели рептилии, отвесные стены скал, прорезанные, словно острым лезвием, бурными потоками, свайные поселения на болотах, кладбища с плитами из туфа, целые царства из глины и ила. Огромное удаление придавало всему одинаковый цвет, а необычная перспектива делала необычным каждый предмет; стада слонов и стаи саранчи неслись по равнинам одинаково густыми, плотными облаками, и различить их было невозможно.

Я должен был бы чувствовать себя счастливым: сбылись мои мечты, мы были одни, и близость с Луной, которая так часто заставляла меня завидовать моему кузену, и с синьорой Vhd Vhd была теперь моим и только моим исключительным правом. Нас ждали лунные дни и ночи — целый месяц наедине; лунная

кора щедро кормила нас своим молоком с терпким знакомым вкусом; наши взгляды устремлялись вверх, к тому миру, где мы родились, и впервые мы видели его во всем многообразии, нам открывались пейзажи, которых никто из жителей Земли не видел, а по другую сторону Луны нам сверкали звезды, крупные, как спелые золотистые плоды, созревшие на изогнутых ветвях неба, — все это превосходило мои самые радужные надежды, и все-таки, все-таки это была ссылка.

Все мои мысли были только о Земле. Именно благодаря Земле каждый был самим собой, а не кем-то другим. А здесь, на Луне, оторванный от Земли, я словно перестал быть самим собой, да и моя возлюбленная стала для меня уже не прежней синьорой Vhd Vhd. Я мечтал только об одном: как бы вернуться на Землю, и трепетал от страха, что навсегда расстался с нею. Мое любовное блаженство длилось лишь одно мгновение — пока мы, слившись воедино, парили между Луной и Землей. Лишенная земной основы, моя влюбленность перешла в душераздирающую тоску по утраченным «где», «когда», «прежде» и «после».

Вот какие чувства владели мною! А что же она? Задавая себе этот вопрос, я испытывал двойственное чувство. Если и она думает лишь о Земле, то это хороший признак — значит, мы думаем об одном; но, с другой стороны, быть может, это означает, что все мои усилия пропали даром и моя любимая по-прежнему стремится лишь к Глухому. Между тем все было иначе. Она ни разу даже не взглянула на нашу прежнюю планету; бледная и вялая, бродила она по безжизненной равнине, напевая печальные песни и нежно перебирая пальцами струны арфы. Она целиком ушла в эту временную, как я надеялся, жизнь на Луне. Выходит, я победил своего соперника? Нет, я потерпел поражение, и притом безнадежное. Синьора Vhd Vhd окончательно поняла, что Глухой любит одну только Луну, и теперь она всей душой стремилась стать частью Луны, отождествить себя с предметом сверхчеловеческой любви Глухого.

Когда Луна сделала полный круг над Землей, мы снова очутились над Цинковыми утесами.

Я даже растерялся, узнав их: никогда я не думал, что отсюда они покажутся такими крохотными. А мои друзья плыли по морю, похожему на большую лужу, но теперь уже без стремянок, ставших отныне совершенно бесполезными. Однако над каждой лодкой поднимался лес длинейших пик: каждый моряк тянул вверх свою пику с укрепленным на конце гарпуном или багром — вероятно, мои друзья надеялись наскрести напоследок немного лунного молока или как-то помочь нам, беднякам. Но мне сразу же стало ясно, что нет такого длинного шеста, которым можно было бы дотянуться до Луны. И в самом деле, до смешного короткие, жалкие, эти шесты через минуту упали в море. Несколько лодок от сильного толчка накренилось, а некоторые даже опрокинулись. И в тот же миг с одной из лодок начал медленно подниматься к небу длиннющий шест, который до этих пор тащили на буксире по воде. Вероятно, он был сделан из множества полых бамбуковых трубок, вставленных одна в другую, поэтому поднимать его приходилось очень плавно, с величайшей осторожностью, ловкостью и силой — иначе тонкий шест, непрерывно колеблющийся, переломился бы под собственной тяжестью или же, резко накренившись, перевернул бы легкую лодку.

Наконец заостренный конец шеста коснулся Луны. Мы увидели, как он уперся в лунную корку, а затем легонько, нет, пожалуй, даже сильно оттолкнул Луну, которая потом снова, точно рикошетом, вернулась к концу шеста и опять отскочила.

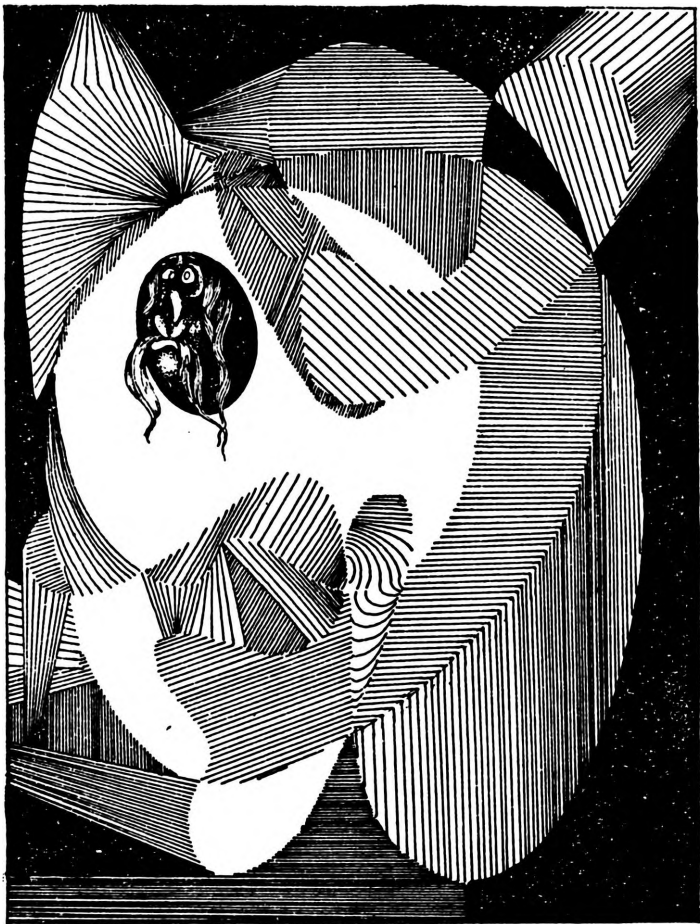
И тут я узнал, вернее — мы оба его узнали: это был мой кузен, только он и никто другой мог вот так вот выкидывать свои трубки, в последний раз заигрывать с Луной и словно жонглировать ею на кончике шеста. Мы сразу поняли, что хитроумные фокусы моего кузена не имели никакой определенной цели, больше того, я готов был поклясться, что он сам отталкивал Луну, точно желая помочь ей отлететь подальше, чтобы потом

самому последовать за ней на ее более удаленную орбиту. Это тоже было в его духе: он просто не мог желать чего-либо, что не соответствовало бы природе Луны, ее движению и судьбе, и если теперь Луна стремилась удалиться от него, то он наслаждался и этим так же, как прежде радовался ее близости.

Как должна была поступить при таких обстоятельствах синьора Vhd Vhd? В этот момент я окончательно убедился, что ее влюбленность в Глухого была не мимолетным капризом, а глубоким безысходным чувством. Раз мой кузен любил теперь Луну далекую, Vhd Vhd останется на этой далекой Луне. Я догадался о ее решении, увидев, что она не сделала ни одного шага к бамбуковому шесту, а лишь подняла арфу к Земле, повисшей высоко в небе, и стала перебирать струны. Я сказал «увидел» — на самом же деле я лишь заметил это краешком глаза, потому что, едва шест коснулся лунной поверхности, я прыгнул и ухватился за него, потом со зменной быстротой и ловкостью стал взбираться по нему, цепляясь за узловатый бамбук, подтягиваясь на руках и выпрямляя колени; став удивительно легким в разреженном воздухе, я карабкался, словно подгоняемый природным инстинктом, повелевавшим мне вернуться на Землю; я точно забыл причину, которая заставила меня подняться на бледное светило, или, вернее, особенно отчетливо помнил о ней и о том, что все мои надежды рухнули; наконец я влез по качающемуся шесту настолько высоко, что уже не должен был прилагать никаких усилий — земное притяжение само неудержимо влекло меня, и я скользил вниз головой к Земле, пока шест вдруг не разломился на куски и я не рухнул в море между лодок.

Это было радостное возвращение, но меня не оставляли горькие мысли об утрате, глаза мои неотрывно глядели на недостижимую Луну, я искал на ней синьору Vhd Vhd. И я ее увидел. Она была там же, где я оставил ее; лежала на берегу прямо над нами, лежала в полном молчании. Она приобрела цвет Луны, к бедру она прижимала арфу и изредка плавными движе-

ниями руки извлекала ленивый звук... Отчетливо вырисовывались ее грудь, руки, бедра — такой она запомнилась мне навсегда. И теперь, когда Луна стала далеким плоским кружочком, едва выплывает лунная долька, я по-прежнему ищу взглядом ее, и мне кажется, что я вижу ее или нечто похожее на нее, но только ее одну, и сколько бы раз я ни глядел на Луну, я всегда вижу ее в тысяче разных обличий, потому что это она одна делает Луну Луной и заставляет в полнолуние собак и меня вместе с ними выть всю ночь напролет.



СВЕТОВЫЕ ГОДЫ

Чем больше расстояние, которое отделяет от нас какую-нибудь галактику, тем выше скорость, с которой она удаляется. На расстоянии десяти миллиардов световых лет галактика должна достигнуть скорости света, то есть 300 000 километров в секунду. «Мнимые звезды», открытые недавно, приближаются к этому пределу.

Однажды ночью, — рассказывал старый Q'iwIQ, — я по обыкновению глядел на небо в телескоп. Вдруг я заметил, что на галактике, отстоящей на сто миллионов световых лет, торчит плакат. На нем было написано: «Я тебя видел». Я быстро подсчитал: свету этой галактики нужно сто миллионов лет, чтобы дойти до меня, и они там тоже видят все, что происходит у нас, с опозданием на сто миллионов лет, значит, тот момент, когда они меня видели, был двести миллионов лет назад.

Еще прежде, чем я успел проверить по своей записной книжке, что я делал в тот день, меня охватило тяжелое предчувствие: именно двести миллионов лет назад, день в день, со мной случилась одна история, которую я всегда старался скрыть. Я надеялся, что со временем этот эпизод будет совершенно позабыт; он никак не согласовывался — так по крайней мере казалось мне — со всем моим поведением до и после того, и я был уверен, что если бы кто-нибудь попытался вытащить его на свет, я мог бы совершенно спокойно все опровергнуть, не только потому, что никто уже не в силах был бы представить доказательства, но и потому, что случай, вызванный такими исключительными обстоятельствами, даже если бы его удалось установить доподлинно, выглядел бы столь неправдоподобно, что и я сам с чистой совестью имел бы право считать его небывшим. И вот оказалось, что с какого-то отдаленного небесного тела меня видели, и теперь вся история снова выплыла наружу.

Разумеется, я мог объяснить, как все произошло и как такое вообще могло произойти, и сделать мое поведение если и не

простительным, то, во всяком случае, понятным. Я подумал, что мне тоже нужно немедленно выставить в ответ плакат и написать на нем что-нибудь в свое оправдание: «Дайте мне все объяснить», или: «Хотел бы я посмотреть, что бы вы делали на моем месте», однако этого было явно недостаточно, а если писать все как есть, то надпись выйдет слишком длинной и ее никак нельзя будет прочесть на таком расстоянии. Но прежде всего мне не следовало поступать опрометчиво и своим полным признанием подчеркивать то, на что плакат «Я тебя видел» только намекал. Короче, мне надо было, прежде чем отвечать им, точно узнать, что они там, на этой галактике, видели и чего не видели; а для этого достаточно было выставить плакат и написать на нем что-нибудь вроде: «Ты все видел или только немножко?», или же: «Посмотрим, правду ли ты говоришь. Что я делал?», — а потом выждать столько лет, сколько нужно для того, чтобы оттуда увидели мою надпись, и еще столько же, пока я увижу их ответ, — и тогда уже подумать о необходимом оправдании. На все это понадобится еще двести миллионов лет — или даже двести с лишком, потому что пока зрительные образы шли туда-сюда со скоростью света, наши галактики по-прежнему удалялись друг от друга, и сейчас то созвездие находилось уже не там, где я его видел, а намного дальше, так что зрительному образу моего плаката придется догонять его. Одним словом, это была долгая процедура, из-за нее мне пришлось бы спустя четыреста миллионов лет обсуждать событие, которое я хотел как можно скорее предать забвению.

Самым лучшим для меня было сделать вид, будто ничего не случилось, и насколько возможно приглушить резонанс того, что выплыло наружу. Поэтому я поспешил выставить на самом видном месте плакат, на котором написал просто-напросто «Ну и что!». Если они там, на этой галактике, рассчитывали смутить меня своим «Я тебя видел», то мое спокойствие собьет их с толку и они решат, что на этот эпизод незачем и внимание обращать. Если же у них не так много данных против меня, то неопреде-

ленное выражение «Ну и что!» поможет мне осторожно прощупать, что, собственно, они имели в виду, написав «Я тебя видел». На таком удалении (со своего места на расстоянии ста миллионов световых лет эта галактика убежала уже миллион веков назад) они там легко могли упустить из виду, что мое «Ну и что!» служило ответом на их «Я тебя видел», выставленное на двести миллионов лет раньше; но я не счел нужным вдаваться в объяснения: если память о том дне по прошествии трех миллионов веков потускнеет, то не мне напоминать о нем заново.

В сущности, меня не должно было так уж волновать, какое мнение обо мне составили на основании одного-единственного случая. Все обстоятельства моей последующей жизни в течение многих лет, веков и тысячелетий после того дня говорили — по крайней мере в подавляющем большинстве — в мою пользу; поэтому мне надо было только предоставить слово фактам. Если с далекого небесного тела видели, что я делал однажды двести миллионов лет назад, то они могли видеть меня и на следующий день, и через день, и два и три дня спустя, и постепенно изменить свое отрицательное мнение, которое они слишком поспешно составили себе, увидев всего-навсего один эпизод. Больше того, мне достаточно было вспомнить, сколько лет назад они выставили свой плакат, чтобы убедиться, что дурное впечатление уже стерто временем и, может быть, даже уступило место более положительной или, во всяком случае, более трезвой оценке. Но хотя умом я был в этом уверен, облегчения я не испытывал: пока я не получу подтверждений, что мнение обо мне изменилось к лучшему, в моей душе останется досада на то, что меня неожиданно застали в неприятной ситуации и окончательно отождествили с ней, пригвоздили к ней.

По-вашему, я мог спокойно наплевать на все, что думают обо мне неведомые обитатели какого-то созвездия? И в самом деле, меня волновало не то, как смотрят на меня те или иные круги общества на том или ином небесном теле, — нет, я подо-

зрел, что если они меня увидели однажды, то это может иметь бесконечные последствия. Вокруг этой галактики было много других галактик, некоторые из них отстояли от нее меньше чем на сто миллионов световых лет, и наблюдатели на них глядели в оба: плакат «Я тебя видел» еще прежде, чем я его разглядел, был наверняка прочитан обитателями других небесных тел, да и после меня его читали на все более и более отдаленных созвездиях. Пусть даже никто не мог точно узнать, к какому именно случаю он относится, все равно такая неопределенность была не в мою пользу, а если учесть, что люди всегда склонны думать о других плохо, то все, что действительно видели с расстояния в сто миллионов световых лет, было пустяком по сравнению с тем, что могли вообразить насчет увиденного в разных местах. Минутная неосмотрительность, допущенная мною миллионы веков назад, преломлялась по-своему на всех галактиках вселенной, дурное мнение обо мне приобретало неслыханные размеры, а я не мог ничего опровергнуть, не ухудшив дела, так как не знал, до каких пределов клеветы могли дойти те, что не видели меня, и потому не представлял себе, что, собственно, я должен опровергать.

В таком состоянии духа я каждую ночь смотрел в телескоп то туда, то сюда. Две ночи спустя я заметил, что еще на одной галактике, отстоявшей на сто миллионов световых лет и один световой день, выставили плакат «Я тебя видел». Сомневаться не приходилось: он относился к тому же случаю; значит, то, что я всегда старался скрыть, увидели еще с одного небесного тела, расположенного совсем в другом районе мирового пространства, — и не только оттуда: с тех пор я каждую ночь видел, как появляются все новые и новые плакаты с надписью: «Я тебя видел» на все новых и новых созвездиях. Расчет световых лет убеждал меня, что видели они все тот же случай. На каждый из плакатов я отвечал плакатом, полным пренебрежительного равнодушия: «Ах, так? Я очень рад», или же: «А мне велика важность!»; иногда я с вызывающей наглостью писал что-нибудь

вроде «Tant pis» *, или же «Ку-ку, это я», — но ни разу не отступился от своей системы.

Хотя логика обстоятельств заставляла меня смотреть в будущее с разумным оптимизмом, однако мне не давал покоя тот факт, что все эти «Я тебя видел» относятся к одному и тому же мгновению моей жизни (лишь на одном небесном теле появился указывающий все на ту же дату плакат «Ничего особенного не видно»), пусть даже такое совпадение было случайным, вызванным особыми условиями межзвездной видимости.

Выходило так, словно в пространстве, заключающем в себе все галактики, зрительный образ моего поступка распространялся внутри сферы, которая непрерывно расширялась со скоростью света: наблюдатели на небесных телах, которые одно за другим оказались в пределах этой сферы, могли видеть все, что произошло. Каждого из этих наблюдателей, в свою очередь, можно было рассматривать как центр еще одной сферы, также распространявшейся со скоростью света: в ней распространялся зрительный образ его плаката. В то же время все эти небесные тела являлись частями галактик, которые удалялись друг от друга со скоростью, пропорциональной расстоянию, и каждый наблюдатель, который отвечал сигналом на полученную информацию, прежде чем он получал следующую, успевал отлететь еще дальше в пространство, и скорость его все возрастала. В какой-то момент самые далекие из тех галактик, с которых меня видели (или видели плакат «Я тебя видел», выставленный на более близкой к нам галактике, или даже плакат «Я видел твоё «Я тебя видел», торчащий на чуть более дальней галактике), окажутся на предельном расстоянии в десять миллиардов световых лет; за этим порогом они будут удаляться со скоростью триста тысяч километров в секунду, то есть быстрее света, и уже ни один зрительный образ не сможет их догнать. Значит, я мог опасаться, что там так и останутся при своем первоначальном мне-

* Тем хуже (франц.).

нии обо мне, которое с этого момента станет окончательным и неисправимым и потому в известном смысле справедливым.

Итак, мне нужно было как можно скорее положить конец недоразумению. Тут у меня осталась одна надежда — на то, что меня после этого случая видели, и не один раз, в такие минуты, когда я производил совсем другое впечатление — то самое (я в этом не сомневался), какое и должно быть у людей обо мне. За последние двести миллионов лет было немало благоприятных для меня случаев, хотя, чтобы устранить все криво-толчки, хватило бы и одного, достаточно наглядного. Вспомнить хотя бы тот день, когда я действительно был самим собой — таким, каким я хотел всем казаться. Этот день — в два счета вычислил я, — был ровно сто миллионов лет назад. Значит, с галактики, отстоящей на сто миллионов световых лет, как раз сейчас и видят этот эпизод, столь лестный для моей репутации, и их мнение обо мне, безусловно, меняется к лучшему (по сравнению с первоначальным беглым впечатлением). Это происходит сейчас или, вернее, произойдет очень скоро, потому что разделяющее нас расстояние за это время возросло и составляет уже не сто, а по меньшей мере сто один миллион световых лет; как бы то ни было, мне остается только выждать столько же лет (я очень быстро вычислил точную дату, учтя даже «постоянную Губбля»), — и я узнаю, как они реагируют теперь.

Вероятнее всего, в момент «Y» на меня будут смотреть именно те, кому уже довелось видеть меня в момент «X», и если учесть, что в момент «Y» я выглядел куда более внушительно, чем в момент «X» (я сказал бы даже, более впечатляюще: кто хоть раз увидит такое, тот уже этого не забудет!), то, значит, меня и запомнят таким, каким я был в момент «Y», а виденное в момент «X» сразу же забудут, выбросят из памяти; и разве что на миг вспомнят об этом случае, да и то лишь для того, чтобы сказать: «Подумайте, каким может иногда показаться такой «Y»! Мы-то думали, что он «X», а он на самом деле «Y»!

Теперь я даже радовался, что вокруг появляется так много

плакатов: видимо, я все шире привлекаю внимание, и, следовательно, самый лучезарный день в моей жизни не ускользнет от глаз наблюдателей. Он получит или, вернее, уже получил без моего ведома куда более широкий резонанс, чем я мог рассчитывать по своей скромности, и станет известен уже не только в узких кругах и к тому же лишь на периферии вселенной.

Следовало принять в расчет и те небесные тела, с которых из-за неудобного местоположения видели не меня самого, а только плакат где-нибудь по соседству и выставили в ответ свои плакаты с надписями: «Кажется, мы тебя видели», или же: «Уж отсюда-то тебя видели» (я отчетливо ощущал в этих надписях то любопытство, то насмешку); выходит дело, и оттуда на меня глядят во все глаза, хотя бы потому, что один раз уже упустили возможность увидеть меня и ни за что не упустят ее вторично; а имея о случае «X» только весьма туманные сведения из вторых рук, там тем более склонны будут рассматривать случай «Y» как единственный, дающий обо мне верное представление.

Таким образом, момент «Y» вызовет резонанс, который распространится через пространство и время, достигнет самых отдаленных, самых быстрых галактик — тех, что, летя со скоростью света, уже не смогут воспринять мой более поздний зрительный образ и унесут с собой этот мой образ как окончательный, независимый от пространства и времени и ставший истиной для сферы с бесконечным радиусом, включающей в себя все сферы, где мнения обо мне неполны и противоречивы.

Что такое сотня миллионов лет по сравнению с вечностью? Однако для меня она тянулась бесконечно. Наконец пришла долгожданная ночь. Я уже давно направил свой телескоп на ту, первую галактику. Опустив веко, я подношу к окуляру правый глаз, потом широко открываю его: созвездие сияет в самой середине объектива. Вот и плакат, надпись на нем неразборчива, я подвожу фокус. На плакате написано: «Тра-ля-ля-ля-ля!» Просто-напросто «Тра-ля-ля-ля-ля!». В тот миг, когда сама сущность моего «я» была видна как на ладони, так что никакие

кривотолки были бы невозможны, в тот миг, когда я дал ключ к истолкованию всей моей жизни, прошедшей и будущей, когда стало возможно судить обо мне всесторонне и беспристрастно, — тот, кто имел возможность... нет, тот, кому моральный долг велел неукоснительно наблюдать за всеми моими поступками, не увидел ровно ничего, не заметил ничего особенного. Я был совершенно убит тем, что моя репутация отдана накуп такому ненадежному типу. У меня был случай доказать, кто я такой, случай, благодаря стечению многих благоприятных обстоятельств неповторимый, и он остался незамеченным, погиб для огромного района вселенной только потому, что этот господин позволил себе на пять минут отвлечься, отдохнуть и считал ворон с благодушием человека, пропустившего лишний стаканчик. И не мог он написать ничего лучшего, чем эти лишние смыслы знаки, или, может быть, это был пошленький мотивчик, который он насвистывал, забыв о своих обязанностях?

Одна только мысль немного поддерживала меня: уж на других-то галактиках найдутся более прилежные наблюдатели. Теперь меня, как никогда, радовало то, что первая досадная история имела столько зрителей, которые ни за что не преминут отметить новизну ситуации. Я снова стал каждую ночь смотреть в телескоп. Несколько ночей спустя появилась во всем своем блеске галактика, находившаяся как раз на нужном расстоянии. И плакат на ней был. А на нем стояли следующие слова: «На тебе шерстяная фуфайка».

Со слезами на глазах я ломал себе голову, стараясь найти объяснение. Может быть, они там со временем настолько усовершенствовались телескопы, что им доставляет удовольствие рассматривать ничтожные детали, — например, какая на ком надета фуфайка, шерстяная или бумажная, — а все остальное их не интересует, не привлекает их внимания. Они проглядели мой благородный поступок, можно даже сказать, великодушный и возвышенный поступок, а заметили только шерстяную фуфайку. Что и говорить, фуфайка была самого лучшего ка-

чества, в другое время мне было бы приятно, что ее заметили, но не теперь, не теперь!

Впрочем, впереди меня ожидало еще множество откликов, и ничего удивительного, если некоторые из них окажутся не такими, как я рассчитывал. Я не из тех, кто расстраивается из-за подобных пустяков. И действительно, с одной более дальней галактики я получил, наконец, подтверждение, что кто-то по-настоящему рассмотрел мое благородство и оценил его по достоинству, то есть восторженно. На плакате было написано: «Там кто-то держит себя молодцом». Я читал это с чувством удовлетворения. Поймите меня правильно: я ожидал, я даже был уверен, что меня оценят по заслугам, и вот мои ожидания не обманули меня; именно это и давало мне удовлетворение. Но тут меня остановили слова: «Там кто-то...» Почему они пишут «кто-то», если уже раньше видели меня, пусть даже только однажды и в неблагоприятной ситуации, если, короче говоря, они не могли меня не знать? Я лучше отфокусировал мой телескоп и обнаружил внизу плаката еще одну строчку, написанную помельче: «Кто бы это мог быть, а?» Можете вы себе представить большее невезение? Те, у кого были все возможности по-настоящему понять, кто я такой, не узнали меня. Они не связали этого похвального поступка с тем предосудительным, совершенным двести миллионов лет назад, и поэтому предосудительный поступок по-прежнему тяготел надо мной, а поступок похвальный так и остался историей без героя, не вошел ни в чью биографию.

Первым моим побуждением было выставить плакат: «Ведь это же я!» Однако я отказался от этой мысли: что даст мне такой плакат? Они увидят его через сто с лишним миллионов лет, а вместе с теми тремястами с небольшим миллионами лет, которые прошли с момента «X», это составит примерно полмиллиарда лет; чтобы они наверняка поняли меня, мне придется все уточнять, вытаскивать на свет ту старую историю и, значит, делать то, чего я больше всего хотел избежать.

Теперь я уже не был так уверен в себя. Я боялся, что и другие галактики принесут мне не больше радости. Все наблюдатели видели меня лишь с одной стороны, были невнимательны, не понимали происходящего до конца, не улавливали его сущности и не могли проанализировать, какие черты моего характера проявляются в том или другом случае.

Только на одном плакате я прочел то, чего действительно ожидал: «А ты и в самом деле молодец!» Я кинулся перелистывать мою тетрадь, чтобы посмотреть, как реагировала эта галактика на момент «Х». Как назло, именно на ней тогда появился плакат: «Ничего особенного не видно». Да что и говорить, в этой зоне вселенной я пользовался превосходной репутацией, мне было чему порадоваться, однако я не испытывал никакого удовлетворения. Я обнаружил, что мне нет дела до тамошних моих почитателей, раз они не принадлежали к числу тех, кто прежде судил обо мне превратно. Они не могли дать мне подтверждение, что момент «У» стер в памяти момент «Х», и моя досада продолжала расти оттого, что я так долго не знал, устранена ли и будет ли устранена ее причина.

Разумеется, наблюдатели, рассеянные по всей вселенной, могли видеть не только случай «Х» и случай «У», но и бесчисленное множество других; и действительно, каждую ночь на более близких или более далеких созвездиях появлялись плакаты, указывающие то на один, то на другой эпизод, плакаты с надписями: «Раз начал — продолжай», или: «А, это опять ты», или же: «Смотри-ка, что он делает!», либо: «А я что говорил!» Для каждого из них я мог сделать расчеты: столько-то световых лет туда, столько-то световых лет обратно, — и установить, к какому эпизоду они относятся; каждый поступок в моей жизни — поковырял ли я пальцем в носу, спрыгнул ли удачно с трамвая на ходу — все еще путешествовал от галактики к галактике, и там мои действия принимались во внимание, обсуждались, оценивались. Правда, отклики на них иногда были совсем не впопад: сочувственное «Ц-ц-ц!» относилось к тому случаю,

когда я пожертвовал треть своего жалования на благотворительные цели, а надпись «Вот сейчас ты мне нравишься» — к тому разу, когда я забыл в поезде рукопись трактата, стоившего мне многих лет труда; а моя знаменитая лекция в Геттингенском университете вызвала такой отклик: «Берегись сквозняков».

В одном отношении я мог быть спокоен: ни один из моих поступков, хороших или дурных, не пропал бесследно. Хотя какой-нибудь отклик он вызывал, и даже не один отклик, а множество разных откликов в разных концах вселенной, внутри постоянно расширяющейся сферы, которая сама порождает другие сферы; но повсюду имелись только разрозненные, несогласованные, второстепенные сведения обо мне, они не помогали понять связь между моими поступками, и новый поступок не мог ни объяснить, ни исправить прежние, так что они лишь прибавлялись друг к другу со знаком плюс или минус, составляя как бы длинный-длинный многочлен, который невозможно привести к более простому выражению.

Что я мог с этим поделать? По-прежнему заниматься прошлым было бесполезно: все как было, так было, а мне следовало заботиться только о том, чтобы впредь все шло лучше. Самое главное заключалось вот в чем: нужно, чтобы во всем моем поведении было ясно, что главное, что следует выделить, что надо замечать и чего не надо. Я раздобыл огромный дорожный щит, указывавший направление, на нем была нарисована рука с вытянутым указательным пальцем, и мне оставалось только, делая что-нибудь такое, к чему я хотел бы привлечь внимание, поднять этот щит таким образом, чтобы указательный палец был обращен на самую важную деталь сцены. А для тех случаев, когда я предпочел бы остаться незамеченным, я сделал другой плакат, нарисовав на нем руку, указывающую большим пальцем направление, противоположное тому, куда я шел сам: так я рассчитывал отвести глаза наблюдателям.

Теперь мне оставалось только повсюду носить с собой эти два щита и поднимать, смотря по обстоятельствам, то один, то

другой. Разумеется, результаты появятся не сразу: наблюдатели, удаленные на сотни тысяч световых тысячелетий, увидят то, что я делаю сейчас, с опозданием в сотни миллионов веков, а я лишь еще на сотни миллионов веков позже смогу прочесть, как они реагируют. Но такая задержка неизбежна. К сожалению, тут было и другое неудобство, о котором я прежде не подумал: как быть, если я вдруг подниму не тот плакат?

Например, однажды я был убежден, что мне предстоит совершить поступок, который наверняка поднимет мой престиж; я поспешил поднять плакат с направленным на меня указательным пальцем и в эту самую минуту попал впросак, ударил лицом в грязь, обнаружив все человеческое ничтожество до такой степени, что в пору было сквозь землю провалиться от стыда. Но дело было сделано: мой образ, да еще с поднятым вверх плакатом, уже плыл в мировом пространстве, пожирая один световой год за другим, его уже нельзя было остановить; много миллионов веков он будет двигаться от галактики к галактике, заставляя их обитателей смеяться, судачить и морщить нос, и вернется ко мне из глубины тысячелетий, вынуждая меня еще более неуклюже отпираться и искать оправданий.

В другой раз меня, напротив, ожидала неприятная ситуация, один из тех случаев жизни, через которые приходится пройти, заранее зная, что как бы ни пошло дело, из него не удастся выпутаться с честью. Я заслонился плакатом, на котором большой палец указывал в противоположную сторону, и ринулся очертя голову... Неожиданно в этой сложной и щекотливой ситуации я обнаружил присутствие духа, уравновешенность, такт и решительность, каких никто и не предполагал во мне, и меньше всех я сам; оказалось, что я в изобилии наделен такими качествами, свидетельствующими о полной зрелости характера, а между тем проклятый плакат отвлекал взгляды наблюдателей, указывая им на стоящую рядом вазу с пионами.

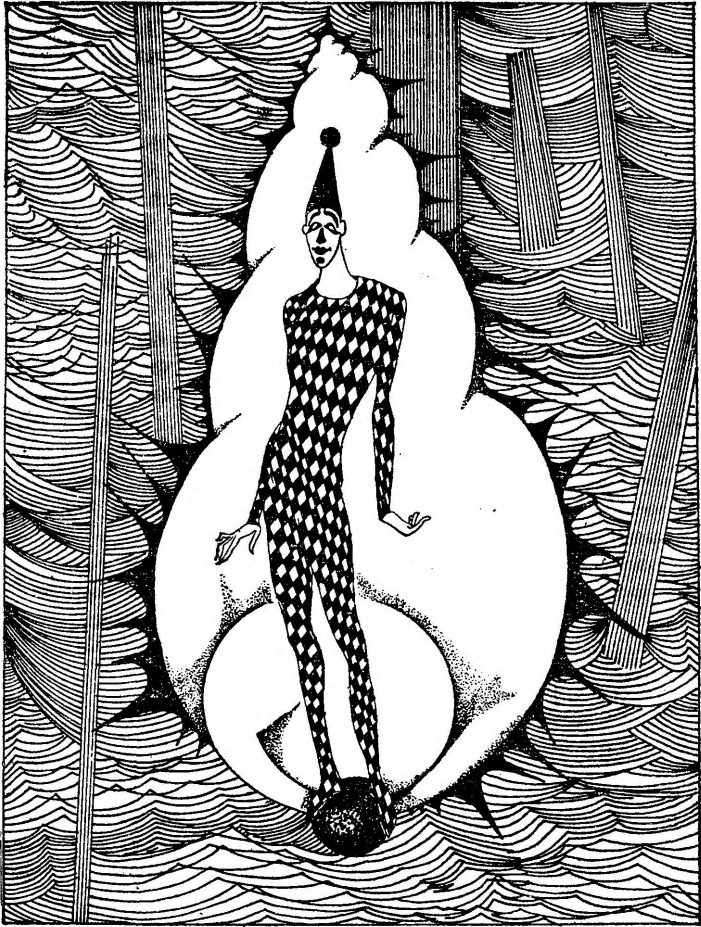
Подобные случаи, которые сперва казались мне лишь исключительными и вызванными моей неопытностью, повторялись

все чаще. Я слишком поздно замечал, что утаивал то, на что нужно указать, или указывал на то, что лучше было бы скрыть. И нельзя было обогнать мой собственный зрительный образ и предупредить, что на плакат не нужно обращать внимания.

Я попробовал было сделать третий щит с надписью «Тот плакат не в счет» и поднимать его тогда, когда хотел, чтобы на предыдущий плакат не обращали внимания. Но с любой галактики его невозможно было заметить раньше, чем первый щит, выставленный по ошибке; дело уже нельзя было поправить, я оказался бы только в смешном положении, и помочь мне мог лишь четвертый плакат: «Это «не в счет» — не в счет»; впрочем, выставлять его было столь же бесполезно.

Я по-прежнему жил в ожидании той далекой минуты, когда с галактик придут отклики на новые досадные и неприятные случаи из моей жизни, и я смогу ответить посланиями, которые уже теперь готовил в соответствии с каждым эпизодом. А между тем галактики, на которых я был больше всего скомпрометирован, удалялись уже на миллиарды световых лет с такой скоростью, что моим посланиям пришлось бы, чтобы догнать их, мчаться в пространстве с большим, чем у самих галактик, ускорением. Тем временем эти галактики будут одна за другой исчезать за горизонтом, отстоящим от нас на десять миллиардов световых лет, из-за которого нельзя увидеть ни одного видимого предмета, и унесут с собою теперь уже окончательное суждение обо мне.

И при мысли о том, что этого суждения мне не изменить, я вдруг испытал облегчение, как будто не мог успокоиться прежде, чем в этом нелепом списке недоразумений уже ничего нельзя будет ни убавить, ни прибавить! И мне казалось, что галактики, которые, приближаясь к пределу моего взгляда, становятся все меньше и меньше, а потом исчезают в бесконечной тьме, уносят с собой единственно возможную истину обо мне, и отныне я не мог дожидаться часа, когда все они последуют тем же путем.



СПИРАЛЬ

Если представители одного и того же вида лишены способности видеть друг друга, а значит, лишены также ясного представления о себе подобных и обо всем окружающем мире — так обстоит дело с большинством моллюсков, — то зримая органическая форма существенного значения в их жизни иметь не может. Однако вне всякой зависимости от того, могут их видеть или нет, они расцвечены яркими, радужными полосами и обладают формами, прекрасными на наш взгляд (какковы, например, многие раковины брюхоногих).

!

— Вы хотите сказать, — совсем как я в ту пору, когда жил, прилепившись к той самой скале? — спросил старый Qfwfq. — Когда вокруг вздымались и падали волны, а я, тверденький и плоский, как лепешка, только то и делал, что усваивал все, что можно было из них извлечь, ни о чем другом и не помышляя? Если вы желаете знать о том времени, то я вам мало что могу сообщить. Что касается формы, то таковой у меня не было, то есть, конечно, она была, да я о ней и не знал, или, вернее, понятия не имел о том, что вообще возможна какая-то «форма». Рос я себе потихоньку, во все стороны без разбору. Если это и есть то, что вы называете «лучевой симметрией», то, значит, я обладал лучевой симметрией, но только не придавал этому значения. Да и с какой мне стати было расти в одну сторону больше, чем в другую? Ни головы, ни глаз у меня не было, да и вообще ни одна часть тела не отличалась от другой. Это теперь пытаются убедить меня, будто из двух имевшихся у меня тогда отверстий одно было ротовым, а другое — анальным, и что, выходит, мне уже тогда была присуща двусторонняя симметрия, совсем как у трилобитов и у всех вас, теперешних; однако сам я, насколько помню, отнюдь не делал различия между обоими отверстиями и пропускал через

себя всякую всячину, туда и обратно, через любое место, какое только вздумается, а это строгое разграничение органов, это чувство брезгливости — все пришло гораздо позже. Но вот странные желания у меня время от времени появлялись — что правда, то правда: то вдруг захочется почесаться под мышкой, то закинуть ногу на ногу, а однажды и вовсе захотелось вдруг отпустить себе усики щеточкой! Разумеется, все эти слова и выражения я употребляю здесь только ради того, чтобы быть понятным вам: в ту пору всей этой массы деталей и подробностей я, конечно, не мог и предвидеть: тогда у меня были одни лишь клетки, похожие друг на друга как две капли воды и без конца выполнявшие одну и ту же работу: майна — вира! — другого они не знали. Однако, сам не обладая формой, я тем не менее ощущал в себе все будущее многообразие форм: все жесты, все гримасы, все звуки, какие только можно издавать, вплоть до непристойных. Одним словом, мыслям моим не было предела. Конечно, мыслями их можно было назвать лишь условно, поскольку у меня не было и подобия мозга, чтобы мыслить, и лишь клетки — каждая в отдельности — как-то мыслили, причем обо всем сразу, и не посредством каких-то там образов, которыми мы в ту пору вообще не располагали, а просто чувствуя себя так, а не иначе, что, впрочем, вовсе не мешало им чувствовать себя одновременно не так, а иначе.

Жил я тогда на редкость привольно и ни в чем не знал недостатка, хоть вы можете подумать, что все было совсем наоборот. Был я холост (при тогдашней системе воспроизводства себе подобных даже временный брачный союз был необязателен), здоров, воздержан. Если ты молод — у тебя впереди долгая эволюция, ты волен избрать любую дорогу, и в то же время ты можешь наслаждаться своей теперешней жизнью прилепившегося к скале моллюска, плоского, влажного и счастливого. И теперь, когда начинаешь сравнивать все это с введенными впоследствии ограничениями, когда представишь себе, что

обладание какой-либо одной формой исключает все остальные, когда вспомнишь о той серой, скучной обыденщине, где все заранее известно и где в конце концов чувствуешь себя загнанным в тесную ловушку, то нельзя не подумать, что в те далекие-далекие дни жилось на свете куда веселее!

Правда, я жил, чересчур углубившись в себя, не так, как живут теперь, со всеми этими связями, и не стану отрицать, что среда и возраст привили мне известную долю нарциссизма, как это сейчас называется. Одним словом, я жил, непрерывно наблюдая самого себя, видел в себе не только достоинства, но и недостатки, но и те и другие были мне по душе: ведь я — учтите — ни с кем не мог сравнить себя!

Однако, сколь ни был я отсталым, я все же не мог не знать, что, кроме меня, существует и что-то другое: к примеру, скала, к которой я прилепился, вода, накрывавшая меня с каждым ударом волны, и еще нечто более далекое, то есть мир. Вода была для меня источником информации, достоверной и точной; вода несла с собой всякого рода вещества; не только питательные, которые я вбирал всей поверхностью тела, но и другие, уже несъедобные, по которым я мог составить себе представление о том, что находится вокруг. Система была такова: набегала волна, и я, крепко сидевший на скале, чуть-чуть, едва заметно приподымался, и стоило мне при этом слегка расслабиться, как вода проходила подо мной, принося мне всякие вещества, и ощущения, и стимулы. Как распространялись эти стимулы, всегда было для меня загадкой: то что-то тебя щекочет, да так, что можно умереть от смеха, то бросает в дрожь, то чешется все тело, — и все это без перерыва, одно за другим — настоящая карусель эмоций и развлечений! Не подумайте только, что я был при этом совершенно пассивен — сидел, открывши рот, и глотал, что ни подавай. Весьма скоро я приобрел опыт и научился анализировать все, что оказывалось рядом, и принимать решения, как мне поступить, чтобы, с одной стороны, использовать все наилучшим образом,

а с другой стороны — избежать неприятных последствий. Главное состояло в том, чтобы умело сжать каждую из составляющих меня клеток или же вовремя расслабиться: таким образом, я мог сделать выбор: что-то принять, что-то отвергнуть и даже выплюнуть.

Так я узнал о существовании «других»; стихия, окружавшая тогда меня, была насквозь пронизана следами этих «других», столь враждебно отличных от меня или же до омерзения схожих со мной. Конечно, теперь вы вправе подумать, что я по характеру был нелюдим, но это неверно: хотя каждый тогда жил сам по себе, но уже сам факт существования кого-то другого успокаивал меня, говорил, что окружающий мир населен, избавлял меня от тревожных опасений, что я представляю собой исключение, что существую только я, что мне одному достался этот удел, похожий на ссылку.

Но существовал не только «кто-то другой»; были среди них и такие, о которых следовало говорить: «другая». Вода доносила до меня колебания особого рода, и я хорошо помню тот момент, когда впервые отметил это, вернее сказать, отметил, что замечая их, как нечто знакомое мне испокон веков. А когда я открыл для себя, что они существуют, мною овладело любопытство: не то чтобы мне хотелось увидеть их или себя показать, нет: во-первых, у нас не было зрения, во-вторых, еще не произошло разделения по половым признакам, каждый индивидуум был во всем подобен всякому другому, и ощущать присутствие другого или другой мне было бы ничуть не более приятно, чем ощущать самого себя; мне хотелось лишь узнать, может ли между нами что-нибудь произойти. Мною овладело страстное желание — не то чтобы предпринять что-нибудь необыкновенное, нет, об этом и мечтать нечего было: в моем тогдашнем положении самое обыкновенное было невозможным, — а просто ответить на те колебания каким-нибудь сходным, а вернее сказать, моим, присущим только мне колебанием, чтобы возникло нечто особое, хоть чем-то отличающееся от всего

остального. Конечно, теперь вы можете говорить о всяких там гормонах и тому подобном, только для меня в этом было действительно нечто прекрасное.

И вот одна из них производила stlif-stlif-stlif — свои яйца, а я: stluf-stluf-stluf — оплодотворял их; происходило все это в море, в теплой, нагретой солнцем воде. Да, я еще не сказал вам про солнце: его я чувствовал, оно согревало море и грело скалу.

Я сказал: «одна из них», и это верно: море приносило не одну тысячу женских посланий, и поначалу все они казались мне однообразным, безликим потоком, в котором все для меня было одинаково приятно, я копался и рылся в нем, ничему в отдельности не отдавая предпочтения; но в один прекрасный миг я почувствовал, что именно мне по вкусу, хотя до того мгновения я ни о каком моем вкусе и понятия не имел. Короче говоря, я влюбился! Это значит, что я начал распознавать ее сигналы, выделяя их среди остальных, более того, я ждал этих сигналов, которые научился распознавать, я разыскивал их, отвечал своими сигналами на те, которые ждал, старался вызвать их, эти сигналы, чтобы потом отвечать на них моими сигналами. Одним словом, мы полюбили друг друга, а чего еще можно желать от жизни?

Конечно, теперь нравы другие, и вам уже кажется невероятным — как это можно влюбиться, ни разу даже не встретившись. Но это «нечто», принадлежащее только ей и растворенное в морской воде, «нечто», в изобилии приносимое мне волнами, позволяло получить о ней столько информации, что вы и представить себе не можете, и не той, поверхностной, чересчур общей информации, какую получают теперь, видя, осязая, обоняя, слыша голос, нет: то была информация о самой ее сути, о самом ее существовании, информация, дававшая обильную пищу воображению. Я мог думать о ней долго и подробно, но не о том, какова она, — это было бы слишком грубо и банально, — а о том, какой она, еще не имевшая формы, мог-

ла бы стать, если бы приняла одну из бесчисленного множества форм, при этом оставаясь самой собою. Это не значило, однако, что я выдумывал ее формы, которые она могла бы принять, вовсе нет, я заботился лишь о том особом качестве, которое она, приняв эти формы, придаст им.

Одним словом, я знал ее хорошо. Знал — и не был в ней уверен. Меня без конца мучили подозрения, беспричинные страхи. Виду я не подавал, мой характер вы знаете. Но под этой маской невозмутимости скрывалось такое, в чем даже теперь, спустя столько веков, я не решаюсь признаться. Сколько раз я подозревал ее в измене, в том, что она направляет свои послания не только мне, а многим другим, сколько раз я бывал уверен, что перехватил одно из этих посланий, или обнаруживал в одном из предназначавшихся мне нотки неискренности! Да, я ревновал — сегодня я могу в этом признаться, но не столько от недоверия к ней, сколько от неуверенности в самом себе. И действительно, где была гарантия, что она правильно поняла, кто я таков? Более того: что я вообще существую? Наши отношения — такие неразрывные, такие тесные, о чем можно было еще мечтать? — отношения, возникшие при посредстве морской воды, были для меня абсолютно личными, в них могли участвовать только я и она, и больше никто. А она? Кто мог дать мне гарантию, что она находила во мне нечто такое, чего не могла найти еще в ком-нибудь или даже во многих — в двух, трех, десяти, наконец, в сотнях и тысячах таких, как я? Кто мог дать мне уверенность, что та самозабвенность, которую она проявляла в отношениях со мной, не направлена в пространство, на авось, кому придется, и не радует всех вокруг?

В том, что все эти подозрения не соответствовали истине, были беспочвенны, меня убеждали колебания, по-прежнему дышавшие той чистотой и покорностью, тем трогательно личным, что всегда было в наших отношениях. Ну, а если причиной ее невнимательности к моей личности были ее застен-

чивость и неопытность и кто-то другой воспользуется этим в своих корыстных целях? А она, наивная душа, будет всегда думать, что это я, не сможет отличить меня от других, и в конце концов в самые интимные наши отношения замешаются какие-то совсем посторонние существа?

Вот тогда я и начал выделять то, что получило название извести. Мне хотелось создать нечто такое, что могло бы самым недвусмысленным образом утвердить мое «я», оградить мою индивидуальность от шаткости и первожданной неразберихи окружавшего меня мира. Сейчас бесполезно тратить слова, пытаюсь объяснить необычность и новизну моего намерения: уже первого сказанного мною слова — «создать», «хотелось создать» — больше чем достаточно: ведь если принять во внимание то, что я никогда ничего не создавал и не помышлял о том, что могу вообще что-нибудь создать, — уже одно это было событием немаловажным. Итак, я начал создавать первое, что пришло мне на ум: это была раковина. С помощью особых желез, расположенных по краю окружавшей мое тело мясистой мантии, я начал усиленно выделять вещество, которое, твердея, приобретало криволинейную форму и в конце концов заковало меня в крепкий многоцветный панцирь, шероховатый снаружи и гладкий, блестящий изнутри. Разумеется, я не имел способа контролировать создаваемую мной форму: я сидел, нахохлившись, тихо и упорно выделяя свои вещества. Создав покрывший все мое тело первый виток ракушки и не успокоившись на этом, я принялся за следующий, и в результате получилась одна из тех закрученных спирально ракушек, глядя на которые вы, наверное, не раз думали — какой огромный труд вложен в их создание! А нужно было только одно: сидеть и настойчиво, день за днем, выделять непрерывно один и тот же материал — и витки создаются сами собой, один за другим.

Едва возникнув, раковина стала для меня тем необходимым убежищем, той защитой, без которых — не создай я ее — мне

вряд ли удалось бы выжить; и тем не менее, пока я ее создавал, мне и в голову не приходило, что в будущем она может пригодиться; напротив, все было как с человеком, воскликнувшим «ба» или «ах»: он мог бы этого не делать и тем не менее делает, — точно так же и я создавал свою раковину исключительно ради самовыражения. И в это самовыражение я вкладывал все свои тогдашние мысли о НЕЙ, все владевшее мной неистовство, все мои любовные помыслы, мое желание существовать для НЕЕ, быть самим собой, и чтобы ОНА была сама собой, и любовь к самому себе, которую я вкладывал в любовь к НЕЙ, то есть все то, что я мог выразить только с помощью этой оболочки, этой завинченной спиралью раковины!

Через равные промежутки времени выделяемая мной маасса приобретала яркий цвет и под конец образовала изумительные по красоте полоски, проходившие лучами через все витки. Эта раковина уже не была мною самим и одновременно была наиболее подлинной частью меня самого, внешним проявлением моей сущности, моим портретом в некоей стройной системе объемов и полос, цветов и твердой материи, и вместе с тем она была ЕЕ портретом, в той же самой системе — портретом на редкость точным, ибо в то же самое время и она создавала себе собственную раковину, во всем схожую с моей, и я, сам того не подозревая, повторял то, что делала она, а она, сама того не ведая, делала то, что делал я, и все остальные повторяли друг друга, строя себе одинаковые раковины, как две капли воды похожие одна на другую, так что все осталось бы по-прежнему, если бы не то обстоятельство, что раковины одинаковы лишь на первый взгляд, а стоит к ним приглядеться — и глазу открывается масса мельчайших различий, тех самых различий, которым впоследствии суждено будет превратиться в грандиозные.

Итак, я вправе сказать, что моя раковина росла сама собой, почти без моего участия, ибо я не заботился о том, чтобы

она вышла непременно такой, а не этакой. Это, однако, не значит, что я проводил время в бесстрастном созерцании, попросту говоря, бездельничал — напротив, я без остатка отдавался процессу выделения, не позволяя себе ни на секунду отвлечься, ни о чем другом и не думая, а вернее, всегда думая о другом, поскольку о раковине думать я не умел, как, впрочем, не умел думать и вообще; и все же, с усилием создавая раковину, я силился одновременно думать о том, что я создаю ее, или еще что-нибудь, или вообще все те вещи, которые впоследствии можно будет создать. Так что работа была отнюдь не монотонной, поскольку мыслительное усилие, сопровождавшее ее, делилось на бесчисленное множество видов мысли, каждая из которых делилась, в свою очередь, на несметное множество видов действий, каждое из которых могло служить созданию неисчислимого множества вещей, а сам процесс создания каждой из этих вещей и был заложен в процессе создания и роста самой раковины, витка за витком...

II

И вот теперь, спустя пятьсот миллионов лет, я оглядываюсь вокруг и вижу поверх моей скалы железнодорожную насыпь, и поезд, идущий по ней, и в одном из окошек группу голландских девушек, и в последнем купе одинокого пассажира, читающего Геродота в двуязычном издании; поезд втягивается в туннель, над которым пробегает шоссе и возвышается торчащий у обочины рекламный щит с пирамидами и надписью «Посетите ОАР!»; мотofургончик с мороженым пытается обогнать тяжелый грузовик, доверху набитый книгами — томами энциклопедии на буквы «Rb — SiIj», но неожиданно тормозит и снова становится в хвост, потому что, затрудняя видимость, дорогу пересекает целая туча пчел, которые летят с расположенной неподалеку полевой пасеки вслед за пчелой-маткой в сторону, противоположную дыму поезда, вынырнувшего с другой стороны из туннеля, и из-за этой двойной завесы — из-за пчел и угольного дыма — я вижу теперь только холм с нацеленными ввысь телес-

нопами астрономической обсерватории и в разбитом вокруг нее саду — крестьянина, который, разрыхляя землю мотыгой, незаметно для себя извлекает на свет и тут же погребает обломок неолитической мотыги — точной копии его собственной, а на пороге здания — дочку сторожа за чтением журнала с гороскопами и портретом героини фильма «Клеопатра» на обложке; я вижу все это и не испытываю ни малейшего удивления, ибо уже сам процесс сотворения раковины заключал в себе и образование меда в восковых сотах, и возникновение улья, и постройку телескопов, и царство Клеопатры, и постановку фильма о Клеопатре, и возведение пирамид, и начертание знаков зодиака халдейскими астрологами, и ведение войн, и возвышение империй, о которых повествует Геродот, и возникновение слов, написанных Геродотом, и слов всех сочинений и трудов, написанных на языках всего мира, не исключая и сочинений Спинозы, написанных на голландском, и краткого — на четырнадцать строк — описания жизни и трудов самого Спинозы в томе энциклопедии на буквы «Rb—Stijl.» в машине, обгоняемой мотофургончиком с мороженым, и не только это, а и все остальное, мне кажется, было уже предопределено созданием самой раковины.

Кого же ищу я, оглядываясь вокруг? Да все ту же, в поисках которой я провел все эти пятьсот миллионов лет, все так же влюбленный в нее, — оглядываюсь и вижу на пляже голландскую купальщицу, а рядом мужчину с золотой цепочкой, служащего при купаньях, и этот мужчина, чтобы испугать ее, указывает ей на пчелиный рой, и я узнаю ее: да, это она, я не ошибся, я узнаю ее по тому, как она пожимает плечом, высоко, почти касаясь щеки, — но полной уверенности у меня нет: всему виной то странное, удивительное сходство с НЕЮ, которое я нахожу и в дочери сторожа при астрономической обсерватории, и в актрисе, загримированной под Клеопатру, а возможно, и в самой Клеопатре, какой она была в жизни и какой, быть может, остается отчасти в бесчисленных образах Клеопатры, созданных другими, и с пчелиной маткой, в неуклонном полете указывающей путь всему рюю, и с женщиной, вырезанной из журнала и наклеенной на ветровое стекло мотофургончика с мороженым, — женщиной в купальном костюме, похожем на тот, какой надет на этой купальщице, которая слушает сейчас по транзистору поющий женский голос, тот же самый, что слышит по своему радио и шофер грузовика с энциклопедией, и тот же — теперь я в этом уверен, — который я слышал все эти пятьсот миллионов

лет. Да, это ЕЕ слышу я сейчас, ту, чей образ я ищу вокруг, ищу и вижу только парящих над морем чаек и серебристыми искрами мелькающих на поверхности рыбешек, и вот я уже уверен, что узнаю ЕЕ в пролетающей чайне, а через минуту уверен в том, что ОНА -- это рыбка, хотя с той же вероятностью ОНА могла быть одной из цариц или рабынь, описываемых Геродотом, или всего лишь одной из дам, упомянутых вскользь на страницах книги, которую читатель оставил в купе, чтобы сохранить за собой место, когда сам вышел в коридор вагона в расчете завязать разговор с голландскими туристами, или любая из этих голландских туристок, в каждую из которых я, могу сказать, был влюблен, хотя я уверен, что влюблен я неизменно только в НЕЕ, в НЕЕ одну.

И чем больше я сгорал от любви и каждой из них, тем труднее мне было решиться и сказать: «Это же я!», потому что я боялся ошибиться, но еще больше боялся, что может ошибиться ОНА и принять меня за кого-нибудь другого, ибо, судя по тому, как мало ОНА меня знала, теперь ей легко перепутать со мной любого: и того служащего пляжа с золотой цепочкой, и директора астрономической обсерватории, и самца чайки или рыбки, и читателя Геродота, и самого Геродота, и мороженщика на мотоцикле, который уже спустился к пляжу по узкой и пыльной дороге среди кантусов и бойно торгует, окруженный голландскими туристами в купальных костюмах, и Спинозу, и водителя машины, груженной двумя тысячами книг, где содержится сжатое описание жизни и взглядов Спинозы, и, наконец, одного из тех трутней, что, совершив положенный им ант продолжения рода, подымают на дне улья.

III

...И, несмотря на все это, моя раковина оставалась прежде всего раковиной, с ее особой, присущей только ей формой, которая и не могла быть иной, поскольку именно такую форму я сам ей придал, единственную, какую я хотел или мог ей придать. А когда раковина обрела форму, изменилась и форма мира, в том смысле, что теперь форма мира включала в себя и ту свою прежнюю, существовавшую до появления раковины, и плюс еще форму самой раковины.

А последствия этому были немалые; судите сами: ведь если световые волны, наталкиваясь на тела, извлекают из них определенного рода эффекты, то первый из них, как известно, цвет, то есть как раз та самая штука, с помощью которой я и творил свои полоски и которой была присуща своя совершенно особая длина волны. А кроме того, возник новый объем, вступивший в свои особые отношения с другими объемами, возникло еще множество явлений, которых я даже постичь не мог и которые тем не менее существовали.

Иначе говоря, раковина обладала теперь способностью вызывать свои зрительные образы, как две капли воды похожие — насколько теперь можно судить — на самоё раковину. С той лишь разницей, что сама раковина существует как бы по одну сторону, сама по себе, а образы формируются и живут по другую сторону, вне ее, и по всей вероятности — на сетчатке глаза. Вот и получается, что образ предполагает наличие сетчатки, а та, в свою очередь, предполагает наличие сложнейшей системы, завершением которой является головной мозг. И выходит, что, создавая раковину, я одновременно создавал и самый образ ее, и не один даже, а неисчислимое множество их, так как с помощью одной только раковины возможно создать сколько угодно этих образов. Однако в то время образы эти существовали только в потенции, поскольку для того, чтобы возник образ, требуется наличие — как уже сказано — многих и многих вещей и в первую очередь головного мозга с соответствующими зрительными центрами и зрительным нервом — чутким передатчиком колебаний извне внутрь, — на окончании которого было бы нечто такое, что позволяло бы видеть происходящее снаружи, попросту говоря, обыкновенный глаз. Теперь смешно и подумать, что найдется существо с головным мозгом, от которого ответвился бы нерв, словно заброшенная вслепую удочка, и что потом этому существу придется ждать, пока появится глаз, и лишь после этого убедиться, что снаружи есть на что посмотреть. Со мной все обстояло иначе: мозго-

вого вещества у меня не было и не мне об этом говорить; но я составил себе на этот счет свое особое представление: самое главное — предметы, которые дадут зрительные образы, а уж глаза появятся потом как неперенное следствие. Вот я и старался, чтобы все то, что составляло мою внешность (а также то мое «внутреннее», что обуславливало эту самую внешность), могло не только стать впоследствии моим зрительным образом, но чтобы в будущем образ этот заслужил эпитет «прекрасный» по сравнению с другими, которые будут названы «просто красивыми», «довольно некрасивыми» или даже «уродливыми до омерзения».

Если каждое тело, рассуждал я, обладает способностью к испусканию и отражению световых волн в особом, только для него характерном порядке — то куда оно деваает эти волны? В карман их прячет, что ли? Отнюдь нет! Оно награждает ими каждого встречного и поперечного! Хорошо, а если бедняга не сможет их использовать, если они ему ни к чему и даже мешают — как станет он тогда реагировать? Спрячется от них, забьется в угол? Ничуть не бывало! Потянется к ним как мильонный и будет тянуться до тех пор, пока его самая чувствительная к этим световым колебаниям точка не сенсублизирует и не разовьется в особый орган, который сможет использовать эти волны в виде зрительных образов! Короче говоря, эту связь: глаз — головной мозг, я представлял себе как своего рода туннель, прорубленный скорее снаружи — усилием того, что готово было стать образом, — нежели изнутри, стремлением уловить какой-нибудь образ.

И я не ошибался, я и сейчас уверен, что это предположение в основных его частях остается справедливым. Нет, ошибку я допустил в другом — когда думал, будто зрение придет в первую очередь к нам, к ней и ко мне. Я изо всех сил старался сделать свой образ красочным, многоцветным, полным гармонии, готовясь войти в мир ее зрительных восприятий, занять в нем особое место и укрепиться там настолько,

чтобы мой образ был с нею и в ее сновидениях, и в ее воспоминаниях, и в ее размышлениях. И я чувствовал, как в то же самое время — вместе со мной — и она излучает свой образ, настолько совершенный, что рано или поздно он непременно разбудит пока еще дремавшие во мне внешние чувства и, развив мое внутреннее зрительное поле, воссияет в нем во всем своем великолепии.

И вот наши с ней совместные усилия вели нас к тому, что мы становились совершенными объектами того внешнего чувства, о котором еще никто ничего толком не знал, но которое достигло впоследствии такого совершенства как раз благодаря совершенству своего объекта, а объектом этим были мы с ней. Глаза, зрение — вот что я имею в виду. Но что эти самые глаза, когда они, наконец, открылись, чтобы увидеть нас, оказались не нашими с ней, а чужими глазами, — этого я даже представить себе не мог!

Мы жили в унылом окружении бесформенных, бесцветных существ, которых и существами-то нельзя было назвать, — мешки, наспех набитые внутренностями, не больше! Они понятия не имели, что с собою делать, как выразить себя и обрести законченную, устойчивую форму, которая могла бы обогатить зрительные представления любого, кто посмотрит на них. Они только и знали, что шнырять взад-вперед то в воде, то в воздухе, то по скалам, погружаясь, снова выныривая, кувыркаясь и вертясь без всякого дела. И это в то самое время, когда мы с ней и все те, кто хоть как-то стремился создать для себя форму, изнуряли себя нелегким трудом! Только благодаря нам этот хаос стал хоть в какой-то мере пространством, где уже есть на что поглядеть, — и кто же этим воспользовался? Они, эти непрошенные гости, которым зрение прежде и во сне не снилось (ведь это были такие уроды, что сколько ни созерцай они друг друга, это им все равно ничего бы не дало), те самые, что навсегда остались глухими и равнодушными к зову формы. И пока мы корпели над черной рабо-

той — готовили то, на что стоило посмотреть, — они тихой сапой присвоили себе самую удобную и бесхлопотную роль: стали приспособлять свои жалкие, зачаточные органы восприятия к тому, что уже можно было воспринять, то есть к нашим образам. И пусть мне не говорят, что эти бедняги тоже, мол, потрудились: из той клейкой кашицы, какой были набиты их головы, могло получиться все что угодно, в том числе и светочувствительный орган, большого ума для этого не требовалось. Усовершенствовать его — вот тут бы я хотел на них посмотреть. Что они стали бы делать, не будь в их распоряжении видимых объектов — и не просто видимых, а ярких и пестрых, которые сами бросаются в глаза? Короче говоря, они добыли себе глаза за наш счет.

Итак, зрение, наше зрение, то самое, которого мы смутно ожидали во мраке, получили благодаря нам другие. Так или иначе, эта великая революция совершилась! Как-то сразу вокруг нас открылись глаза: роговицы, радужные оболочки, зрачки; блеклые, выпученные глаза осьминогов и каракатиц, круглые студенистые глаза золотых рыбок и краснобородок, висящие словно на ниточках глазки раков и омаров, граненые, навывкате, глаза мух и муравьев. Черный лоснящийся тюлень проплывает, мигая глазками, маленькими, как булавочные головки. Улитка высовывает шарики глаз на двух длинных антеннах. Бесстрастные глаза чайки окидывают водную рябь. Глаза подводного охотника из-под круглой стеклянной маски пристально исследуют дно. Глаза капитана дальнего плавания из-за линз подзорной трубы и глаза купальщицы, скрытые большими черными очками, задерживают взгляд на моей раковине, а затем встречаются между собой, и оба забывают обо мне. Я чувствую на себе взгляд дальнозорких глаз из-под очков для дальнозорких: это какой-то зоолог, который ловит меня в кадр своей зеркалки. В этот момент целая стая крошечных, только что вылупившихся рыбешек проходит передо мной, таких маленьких, что кажется, будто в каждой белой рыбке

только и есть мѣста, что для черной точки глаза; и словно облако пыльцы в воздухе, мириады этих точек проплывают в воде.

И все это мои глаза. Это я сделал их возможными, я выполнил активную роль, снабдив их исходным сырьем — зрительными образами. Только с глазами пришло все остальное, все, чем другие, обретя глаза, стали, независимо от их формы и назначения, и все, что им, независимо от их формы и назначения, удалось сделать, — всему положил начало я. Все это было заложено уже в том, что я существовал, в том, что у меня завязались отношения с другими существами, и т. д., и в том, что я взялся за изготовление раковины, и т. д. Одним словом, во мне заключалось решительно все!

И в глубине каждой пары этих глаз жил я, а вернее сказать, одно из моих «я», мой образ, и этот образ встречался с ее образом, самым точным ее образом, в том особом мире, который начинается за полужидкими сферами радужных оболочек, за темнотой зрачков, за хрустальными чертогами сетчатки, в подлинной нашей стихии, которой нет ни конца, ни края...

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	3
С. Ошеро в. Письмо героя читателю	5
Все в одной точке. Перевод С. Ошерова . . .	15
Когда впервые рассвело. Перевод С. Ошерова	21
Игры без конца. Перевод Р. Чертова	33
Бесцветный мир. Перевод Л. Вершинина . .	43
Кристаллы. Перевод С. Ошерова	55
На сколько спорим? Перевод Л. Вершинина .	65
Водяной дядюшка. Перевод Е. Солоновича .	77
Динозавры. Перевод Е. Солоновича	91
Отдаление Луны. Перевод Л. Вершинина . .	111
Световые годы. Перевод С. Ошерова . . .	129
Спираль. Перевод Р. Чертова	143

Кальвино Итало

КОСМИКОМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. Пер. с
итал. М., «Молодая гвардия», 1968.
160 с., с илл. И(Итал)

Редактор **Г. Головнев**

Художник **Б. Жутовский**

Худож. редактор **А. Степанова**

Техн. редактор **А. Бугрова**

Сдано в набор 1/III 1968 г. Подписано
к печати 19/VI 1968 г. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага № 2. Печ. л. 5 (усл. 7). Уч.-изд.
л. 7,8. Тираж 100 000 экз. Цена 41 коп., в
переплете с суперобложкой 56 коп. Т. П.
1967 г., № 416. Заказ 303.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия», Москва, А-30, Суще-
вская, 21.

